

АЛЕКСАНДР ЧАКОВСКИЙ



БЛОКАДА

КНИГА III

*Легендарные романы
об осажденном городе*



Легендарные романы об осажденном городе

Александр Чаковский

Блокада. Книга 3

«Яуза»

1969

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Чаковский А. Б.

Блокада. Книга 3 / А. Б. Чаковский — «Яуза»,
1969 — (Легендарные романы об осажденном городе)

ISBN 978-5-04-102101-6

900 дней тяжелой борьбы и невиданного героизма. 900 ночей подвига, страданий и голода. Не сумев прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, германское командование предприняло попытку взять Ленинград измором. Город должен был быть стерт с лица земли, а его жители – погибнуть от голода и холода. Осуществляя свой план, противник вел варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы осажденного города. Но герои-ленинградцы не сдались и сделали все для спасения родного города, скорейшего прорыва блокады и приближения Великой Победы. Они выстояли, а имя спасенного ими прославленного города навсегда осталось в истории символом мужества и негиблемости духа.

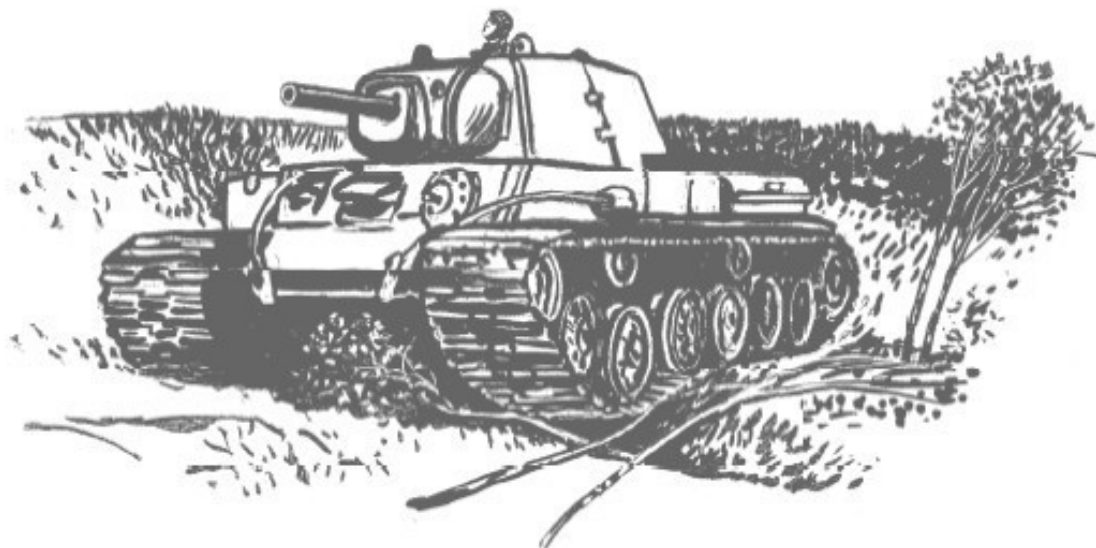
УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-102101-6

© Чаковский А. Б., 1969
© Яуза, 1969

Содержание

Часть первая	5
1	5
2	35
Конец ознакомительного фрагмента.	51



Александр Чаковский

Блокада. Книга 3

Часть первая



1

Переданное в Смольный по телефону и продублированное телеграфом сообщение о том, что наступление немецких войск на Волхов удалось отбить и что непосредственная опасность вторжения врага на юго-восточное побережье Ладоги миновала, было подобно лучу солнца, на мгновение пробившемуся сквозь грозные тучи, обложившие ленинградское небо.

В течение нескольких ноябрьских дней Смольный затаив дыхание ожидал исхода боев, которые вела пятьдесят четвертая армия под командованием Федюнинского. Падение Волхова стало бы для Ленинграда катастрофой. И не только потому, что предопределяло выход противника к Новой Ладоге и, следовательно, захват скопившихся там продовольственных грузов. Последствия прорыва немцев к юго-восточному берегу Ладожского озера были бы трагическими еще и потому, что при этом оказывалась бесполезной новая автомобильная трасса

от станции Заборье, с таким трудом прокладываемая по лесным чащобам и незамерзающим болотам в обход Тихвина, который теперь находился в руках противника.

Более того: пробившись к Ладоге, немцы неизбежно соединились бы с финнами на река Свирь, отрезав все подступы к озеру из глубины России и осуществив таким образом гитлеровский план удушения Ленинграда вторым блокадным кольцом.

Успешные действия пятьдесят четвертой армии на подступах к Волхову отодвинули такую опасность, но не ликвидировали ее. Основные силы первого армейского корпуса немцев по-прежнему стояли в нескольких километрах от Волхова, и вражеские снаряды продолжали рваться на его окраинах, когда в Смольном, в кабинете Жданова, собрались руководители обороны Ленинграда.

За длинным столом для заседаний занимали свои привычные места сам Жданов, Васнецов, новый командующий фронтом генерал Хозин, секретари обкома Штыков и Бумагин, секретарь горкома Капустин, председатель исполкома Ленгорсовета Попков и начальник штаба фронта Гусев. Несколько в стороне, в одном из кресел у пустующего сейчас письменного стола, расположился генерал Воронов, как бы подчеркивая этим, что присутствует здесь в качестве наблюдателя, – он уже получил вызов Ставки и сегодня же должен был вылететь в Москву.

Ленинград окутывался вечерним сумраком, чуть ослабленным белизной снега, – зима в этом году началась необычно рано. В плотно зашторенном кабинете Жданова горела настольная лампа, но люстра не зажигалась: режим экономии электроэнергии строго соблюдался и в Смольном.

Как всегда, каждый из приглашенных на заседание Военного совета, входя, прежде всего бросал взгляд на Жданова, стараясь по выражению его лица определить: не произошло ли в самый последний момент каких-либо новых событий, и если да, то какого именно характера?

Лицо Жданова было хмурым и замкнутым. Темные мешки под глазами, казалось, стали еще больше.

Ожидая, пока официантка из смольнинской столовой расставит на столе стаканы чая в подстаканниках и разложит всем по кусочку пиленого сахара, собравшиеся обратили внимание, что Жданов и сидящий слева от него Хозин избегают встречаться взглядами.

Официантка, поняв, что ее присутствие задерживает начало заседания, засуетилась, с недоумением обнаружила на своем подносе оставшийся кусочек сахара, скользнула взглядом по столу, чтобы понять, кого она обделила, на всякий случай положила белый кубик в центр стола, на свободное от карт пространство, и удалилась. Некоторые, как только она ушла, вырвали листки из блокнотов и, торопливо завернув свои кусочки сахара, опустили их в карманы пиджаков и гимнастеров. В этот миг ослабло напряжение в электросети, настольная лампочка потускнела. Васнецов сделал было резкое движение – очевидно, хотел подойти к телефону и узнать, что там случилось на смольнинской подстанции, но лампочка тут же вспыхнула неестественно ярко.

Жданов поморщился от режущего глаза света, прикрыл зеленый стеклянный абажур газетой.

– Что ж, начнем, товарищи, – негромко сказал он. И присутствующим показалось, что слова эти произнесены недовольно, с каким-то усилием, точно Жданову не хотелось начинать заседание.

В наступившей тишине Васнецов, энергично размешивая свой чай, позвякивал ложечкой о стекло. Жданов строго взглянул на него, и тот отодвинул стакан в сторону.

– Есть предложение заслушать товарища Хозина, – так же тихо продолжал Жданов. – Командующий ставит вопрос, который... впрочем, не стоит предварять. Пожалуйста, товарищ Хозин.

Настольная лампа теперь уже горела нормально. Но Жданов, видимо поглощенный своими мыслями, забыл снять с абажура газету, и вся комната погрузилась в полумрак. Никто не обращал на это внимания.

Хозин встал и с высоты своего огромного роста в первый раз обвел взглядом присутствующих. Потом опустил голову и подчеркнуто, не обращаясь ни к кому в отдельности, сказал:

– Суть вопроса в следующем. Мне представляется целесообразным прекратить пока попытки прорыва на Невском плацдарме, поскольку они не сулят успеха, по крайней мере в ближайшем будущем, и влекут большие потери в личном составе. Это первое...

Участники заседания были ошеломлены. Иные подумали, что они ослышались, не так поняли командующего. «Прекратить попытки прорыва блокады? Свернуть наступательные действия на „Невском пятачке“, с которыми были связаны все надежды на соединение с 54-й армией?!» А командующий между тем продолжал:

– Теперь второе. Я предлагаю перекинуть из Ленинграда к Федюнинскому три стрелковых дивизии и две бригады – стрелковую и танковую – с целью укрепить наш левый фланг. У меня все.

Он повернулся лицом к Жданову, точно ожидая от него чего-то. Но Жданов сидел нахмурившись, не глядя на генерала, едва слышно постукивая карандашом по стеклу, прикрывающему торец стола.

Хозин сел.

Второе его предложение уже не оставляло места для сомнений. Получалось, что командующий предлагает не только смириться с неудачей у Невской Дубровки, но и вообще ослабить обороноспособность Ленинграда.

Взгляды Штыкова, Капустина и Попкова требовательно устремились к Жданову. Начальник штаба Гусев и генерал Воронов вели себя внешне безучастно. Васнецов же, наоборот, с явным возмущением передернул плечами, поднялся, резко отодвинул стул, на котором сидел, и, засунув руки в карманы, стал нервно вышагивать по комнате.

Казалось, что только это – звук отодвигаемого стула – вывел Жданова из сосредоточенного оцепенения. Он сдернул газету, прикрывавшую абажур, и при ярком свете лампы всем, кто видел сейчас лицо Жданова, показалось, что он сдерживает бушующую где-то в глубине его души бурю и сейчас она прорвется наружу.

Но ожидание это не оправдалось. Жданов заговорил, не повышая голоса:

– Товарищ Хозин высказал эти свои предложения еще утром. Они показались мне несколько странными...

– Мне тоже! – громко сказал Васнецов.

Будто не слыша этой реплики, Жданов развивал свою мысль дальше, в том же сдержанном тоне:

– По существу, предложения Михаила Семеновича равносильны отказу – да, добровольному отказу! – с ударением повторил он, – от прорыва блокады, поскольку Невский плацдарм является единственным участком фронта, где прорыв в принципе возможен. Больше того, мы рискуем потерять Ленинград. Кто может ответственно поручиться, что противник не попытается снова штурмовать город? Немцы же по-прежнему недалеко от Кировского завода! И в этих условиях лишиться трех дивизий и двух бригад? Не понимаю!

Последние слова Жданов произнес с горечью и бросил на стол карандаш, который до тех пор крепко сжимал пальцами. Так и не взглянув на Хозина, он придвинул к себе стакан остывшего чая в резном подстаканнике, опустил туда сахар и, не размешав, сделал быстрый глоток. Потом коротко спросил:

– Кто желает высказаться?

Васнецов прекратил ходить по комнате – теперь он стоял, положив обе руки на спинку своего пустого стула, – и откликнулся первым:

– Думаю, что тут обсуждать нечего! Я, например, решительно против предложений товарища Хозина.

Жданов помешал ложечкой чай, оглядел сидящих за столом, затем перенес свой вопрошающий взгляд на Воронова:

– Хотелось бы услышать ваше мнение, Николай Николаевич!

Воронов встал.

– Я прошу, чтобы мои слова не рассматривались как мнение представителя Ставки, – подчеркнуто официально сказал он. – Вам, Андрей Александрович, известно, что мои полномочия окончились. Тем не менее командующий делился со мной своими соображениями, и в них, по-моему, есть резон. Во всяком случае, мне представляется, что предложения генерала Хозина следовало бы обсудить.

Воронов одернул гимнастерку и сел. Наступило тягостное безмолвие. Слышно было только шумное, астматическое дыхание Жданова.

– Я говорил товарищу Хозину сегодня утром и говорю сейчас: мне в принципе непонятна его позиция, – произнес наконец Жданов, уже не скрывая своего раздражения. – Прекращение наступления с Невского плацдарма и переброска части войск за кольцо означают, что никаких надежд на прорыв блокады изнутри у нас нет. Так? Ответьте нам, Михаил Семенович!

– Я хочу, чтобы товарищ Попков доложил продовольственное положение на сегодняшний день, – вместо ответа сказал невозмутимо Хозин. И добавил: – Сегодня он делился со мной некоторыми своими соображениями.

Жданов недоуменно посмотрел на Попкова, как бы спрашивая безмолвно, почему тот, имея какие-то новые данные, не доложил их прежде ему, Жданову.

Попков встал, вынул из нагрудного кармана своей полувоенной гимнастерки блокнот и, не раскрывая его, сказал:

– Сегодня мы произвели очередной подсчет запасов продовольствия. Я как раз собирался идти к вам, Андрей Александрович, но ко мне зашел командующий и сказал, что через пятнадцать минут состоится заседание.

Попков раскрыл было блокнот, но, так и не заглянув в него, продолжал по памяти:

– Муки в городе осталось на неделю, крупы – на восемь дней, жиров – на две недели. Мясопродуктов в Ленинграде нет. Правда, эти данные не включают запасов, которые имеются в Новой Ладоге. С учетом же их можно считать, что муки нам хватило бы на три недели, крупы и жиров – на две с половиной, а мясопродуктов чуть больше чем на неделю. Тем не менее дальнейшее сокращение продовольственных норм для населения представляется мне невозможным. Смертность в городе растет с каждым днем и грозит превратиться в массовое явление. Придется урезать нормы питания личному составу войск и Балтфлота. Другого выхода я не вижу и...

Лицо Жданова исказила болезненная гримаса. Он торопливо закурил и прервал Попкова:

– Это особый вопрос. Его обсудим отдельно. Сейчас речь идет о другом...

Попков умолк и спрятал свой блокнот.

– Извините, Андрей Александрович, – сказал Хозин, – но у меня есть еще одно предложение: заслушать товарища Штыкова о положении дел на строительстве обходной дороги. Терентий Фомич лучше всех нас осведомлен об этом, поскольку вернулся с той стороны только сегодня.

Взгляды всех обратились к невысокому, широкоплечему, с типично русским, крестьянским лицом, средних лет человеку. Это и был Штыков – один из секретарей Ленинградского обкома партии. Большую часть времени он находился за блокадным кольцом, возглавлял работы по доставке грузов из внутренних областей страны к Ладожскому озеру. А после того как пал Тихвин и было начато строительство обходной трассы, все его внимание переключилось на эту стройку.

Штыков сосредоточенно курил, но, услышав пожелание Хозина, придавил папиросу о дно пепельницы и вопросительно посмотрел на Жданова. Жданов кивнул, и Штыков, не вставая со стула, сказал:

– Работы ведутся день и ночь. Привлекли к строительству колхозников, мобилизовали транспорт из всех районов, по которым должна пройти трасса. Вместе с тыловыми подразделениями на строительстве работает сейчас не менее тысячи человек...

Торопить Штыкова с окончанием строительства новой трассы было бесполезно. Все знали, что расстояние от Заборья до Ладоги достигает почти трехсот километров. На карте, висевшей в кабинете Жданова, эта дорога была изображена в виде изломанной красной линии, похожей на температурный график тяжело больного человека. От Заборья она резко поднималась на север, круто сворачивала на запад, затем карабкалась на северо-запад, в районе Ладоги падала вниз, на юго-запад, потом ползла к восточному побережью Шлиссельбургской губы и, как бы задохшись после длинного пути, замирала здесь, возле прибрежной деревеньки Леднево.

– Положение крайне тяжелое, – глухо сказал Жданов, – я всем это очевидно. На переброску продовольствия самолетами полагаться не приходится: авиация нужна под Москвой, и то минимальное количество транспортных самолетов, которое Ставка может выделить для снабжения Ленинграда, не способно покрыть даже самых скромных наших потребностей. Тем не менее я не понимаю, – повышая голос, произнес он, – какое все это имеет отношение к предложению товарища Хозина?

– Прямое! – возразил Хозин. – Сократив численность войск, мы пусть незначительно, но все же облегчим проблему снабжения частей, остающихся в городе.

Васнецов, все еще стоявший, облокотившись о спинку стула, воскликнул:

– Трудно поверить, что командующий говорит это всерьез! Мы уже перебросили на ту сторону две дивизии, когда готовили прорыв. Теперь предлагается перебросить еще пять соединений. Так можно дойти и до полной ликвидации Ленинградского фронта.

Жданов предостерегающе постучал карандашом по стеклу, призывая Васнецова умерить свою горячность.

– Я повторяю, – как бы игнорируя полемический выпад Васнецова, с обычной своей невозмутимостью проговорил Хозин, – что, оставляя все войска в блокадном кольце, мы обрекаем их на хроническое недоедание и, следовательно, снижаем их боеспособность. Кроме того, я убежден, что в сложившихся условиях Тихвинское и Волховское направления становятся решающими. Защищать Ладожское побережье и отбить Тихвин – вот что сейчас необходимо в первую очередь...

– Партия поручила нам защищать Ленинград! – запальчиво прервал его Васнецов.

– Так точно, – отозвался Хозин. – Но представьте себе, что немцы, не беспокоясь за Тихвин, перебросят дополнительные силы под Волхов, прорвутся к Ладоге, соединятся с финнами на Свири. Тогда ничто уже не спасет Ленинград от вымирания. Второе кольцо блокады замкнется наглухо.

Хозин умел держать себя в руках, однако чувствовалось, что сейчас это дается ему с большим трудом. Он вынул платок, быстрым движением вытер со лба капли пота, хотя в кабинете было прохладно, и твердым голосом сказал:

– Как командующий войсками фронта, я убежден, что если мы не перебросим часть войск на Большую землю и не создадим достаточно сильную ударную группировку на левом фланге, то допустим серьезный оперативный, может быть даже стратегический просчет. Вести бои на «Невском пятачке» в то время, как противник окружает нас еще одним блокадным кольцом, бессмысленно. Наше спасение в защите Ладожского побережья и в том, чтобы отбить у врага Тихвин.

Хозин сел. Снова наступило угнетающее молчание.

Начальник штаба придерживался того же мнения, что и Хозин, но не решался вмешаться в столь острый спор между Ждановым и Васнецовым, с одной стороны, и командующим – с другой. Воронов, высказав в осторожной форме свое личное мнение, не считал возможным оказывать дальнейшее давление: его полномочия распространялись лишь на одну операцию Ленинградского фронта, которая фактически уже закончилась неудачей.

Остальные участники заседания испытывали еще большие затруднения. Многоопытные партийные и советские работники, они не считали и не могли считать себя достаточно искушенными в чисто военных делах, да и других забот им хватало с избытком.

Им, людям невоенным, трудно было так вот, с ходу, высказаться по существу возникшего спора. Целесообразность предложений Хозина вызвала у них сомнение. Зато ясно осознавалось другое: необходимость быстрее прорыва блокады. Проститься с надеждой на это они не могли и осуществление такой надежды по-прежнему связывали с исходом боев у Невской Дубровки, а точнее у Дубровки Московской, на противоположном берегу. Давно все привыкли к мысли о нехватке сил для отражения натиска противника, а командующий предлагает уменьшить и эти явно недостаточные силы – вывести часть войск за пределы блокадного кольца. С этим трудно было согласиться.

Да и то, что Жданов и Васнецов не скрывали своего несогласия с предложениями Хозина, фактически предопределяло исход обсуждения. В конечном счете и Бумагин, и Капустин, и Попков короткими репликами своими дали понять, что они тоже за сохранение в Ленинграде всей наличной численности войск и за продолжение наступательных действий на «Невском пятачке».

– Вы хотите что-нибудь добавить, Михаил Семенович? – неожиданно мягко спросил Жданов.

Хозин снова встал. Несколько мгновений всем, кто наблюдал за ним, казалось, что командующий собирается с мыслями, ищет новые аргументы в пользу своих предложений. Однако дополнительной аргументации не последовало.

– Никак нет, – коротко ответил Хозин. – Добавлений не имею. – И опять опустился на свое место.

– Что ж, товарищи, – подвел итог Жданов, – по-видимому, вопрос ясен. Мы ценим Михаила Семеновича как опытного военачальника, но... в данном случае наши мнения расходятся. На этом и закончим. Товарища Хозина прошу задержаться, – добавил он уже вполголоса.

...И вот они остались в комнате одни: Жданов и Хозин. Оба на тех же местах, что и во время заседания. Жданов взял из раскрытой коробки «Северной Пальмиры» папиросу, нервно размял ее, закурил, закашлялся, положил папиросу на край тяжелой, граненого стекла пепельницы и сказал, следя за тонкой струйкой дыма:

– Все же я не понимаю вас, Михаил Семенович! Когда я утром предложил обсудить ваши соображения, так сказать, коллективно, то, откровенно говоря, надеялся, что вы откажетесь. И моя и Васнецова точка зрения вам уже была известна. На что же вы рассчитывали?

Хозин по привычке сделал попытку встать.

– Нет, нет, сидите, пожалуйста, – удержал его Жданов. – Я хочу, чтобы мы поговорили без официальных. – Он взял с края пепельницы папиросу, сделал две-три затяжки и, слегка наклоняясь к Хозину, продолжал: – Я искренне ценю вас, Михаил Семенович. Потому и не возражал, чтобы вы и Федюнинский поменялись местами. Но начинать нам совместную работу с конфликта нельзя. В особенности в теперешних чрезвычайных обстоятельствах.

Хозин молчал. Можно было подумать, что генерал никак не реагирует на явную попытку Жданова смягчить их противоречия и восстановить те ровные отношения, которые установились между ними с момента недавнего возвращения Хозина в Ленинград уже в качестве командующего.

И это удивляло Жданова, вызывало в нем глухое, пока еще тщательно подавляемое раздражение.

– Вся наша надежда, – снова заговорил он, – связана о прорывом блокады. Иначе мы задохнемся, и вы это понимаете не хуже меня. За вчерашний день, по сводке горздрава, уже четыреста ленинградцев умерли голодной смертью. Сегодня, очевидно, эта цифра возросла. И с каждым днем, с каждой неделей голод будет ощущаться все сильнее. А вы, командующий фронтом, в такой момент предлагаете свернуть операции в района Невской Дубровки! Не обижайтесь на меня, Михаил Семенович, но я начинаю думать, что за время пребывания там, на Большой земле, вы... ну, – как бы это поточнее сказать? – перестали понимать психологию ленинградцев. И, кроме того, хочу вам напомнить, что никаких указаний из Ставки о свертывании операции не поступало. Наоборот, и вы это отлично знаете, не так давно Василевский звонил вашему предшественнику Федюнинскому от имени товарища Сталина и выражал крайнее недовольство темпами нашего наступления.

Хозин по-прежнему безмолвствовал и неподвижно сидел на стуле, устремив взгляд куда-то в пространство. Все попытки Жданова побудить его хотя бы сейчас, в беседе с глазу на глаз, признать свою неправоту оставались напрасными.

Жданов резким движением бросил в пепельницу погасшую папиросу и уже требовательно спросил:

– Как понимать ваше молчание?

– Я высказал все, что мог, – ответил Хозин.

– Но в этих ваших высказываниях не видно перспективы. Вывести из Ленинграда часть войск, прекратить наступление, а дальше что? Что же дальше?!

Хозин резко, всем корпусом, повернулся к Жданову и, глядя на него в упор, подчеркивая каждое слово, сказал:

– Андрей Александрович, это и есть тот самый вопрос, который я хотел задать вам: что же дальше?

– Драться! – воскликнул Жданов. – Лед на Неве окрепнет ее позже чем через неделю, и я не верю, что, перебросив на плацдарм тяжелые танки, подтянув туда побольше артиллерии, сконцентрировав там усилия авиации, мы не сможем преодолеть эти проклятые двенадцать километров. Когда возникает дилемма: иди голодная смерть, или прорыв, то выбор может быть лишь один!

Хозин медленно покачал головой.

– Андрей Александрович, вы только что назвали цифру умерших от голода за вчерашний день. Но помните ли вы цифры погибших на Невском плацдарме?

Жданов нахмурился.

– А вы помните, сколько перемолото там вражеских войск? Наши бойцы погибли за святое дело. Войны без жертв не бывает.

– Конечно, – согласился Хозин. – Только жертвы должны быть оправданными. Простите, Андрей Александрович, что вступаю с вами в спор, в иное время никогда не решился бы на это. А сейчас я вижу свой долг в том, чтобы еще раз попытаться предостеречь вас и избавить себя от ошибочного шага. Вспомните историю «Невского пятачка». В сентябре, когда принималось решение отбить у немцев плацдарм на левобережье, оно было правильно: противник тогда еще не успел как следует укрепиться, блокада только что замкнулась, и попытка сразу же прорвать ее сулила реальный успех. Двадцатого октября, когда началась операция по прорыву, тоже можно было надеяться на успех, поскольку у Невской Дубровки удалось создать; значительное численное превосходство над противником, да еще и в тылу у него оказалась наша армия, нацеленная на Синявино. Жертвы, понесенные в тех боях, были, конечно, оправданными. И тогдашнее требование Ставки форсировать наступление не вызывало сомнений. Но с той-то поры ситуация резко изменилась. Немцы начали наступление юго-восточнее Ленин-

града, моему преемнику Федюнинскому пришлось перегруппировать силы пятьдесят четвертой армии, чтобы отстоять Волхов. Да и сейчас ему впору защитить от врага Ладожское побережье, а не о прорыве думать! Если уж нам не удалось прорвать блокаду двадцатого октября, когда удары по врагу наносились с двух сторон, то чего же можно ждать от теперешнего наступления только со стороны Ленинграда? Если тогда наши войска сумели продвинуться лишь на считанные десятки метров, какие же шансы имеются у нас сегодня, в гораздо худших условиях, пробить двенадцатикилометровую глубину обороны противника? Чем оправдаете вы новые жертвы, которые будут огромны, если наши части на «пяточке» не перейдут к обороне? Чем оправдаемся мы сами за свои ошибочные решения перед Ставкой, перед народом, перед собственной совестью, если враг прорвется к Ладоге? Только тем, что мы дрались и хотели прорвать блокаду?!

Хозину стоило больших усилий произнести такую длинную речь. И в первые мгновения она произвела впечатление на Жданова. Однако очень скоро Жданов почувствовал, что командующий все-таки не убедил его. Психологический барьер непреодолимо преграждал доступ к нему любых аргументов в пользу предложения Хозина.

Генерал Хозин был человеком военным до мозга костей. Эмоциональная сторона вопроса, так или иначе связанного с боевыми действиями, всегда отступала у него на дальний план. Для него были куда важнее соотношение сил и средств, выбор главной цели и способов достижения ее, точный расчет времени и пространства. Жданов же, даже приобретя за эти месяцы некоторый военный опыт, оставался прежде всего политическим деятелем. То, что в партийной терминологии именуется политико-моральным состоянием масс, принималось им во внимание в первую очередь.

Отличало этих двух людей и нечто другое.

Приехав с Жуковым, Хозин находился в блокированном Ленинграде относительно недолго и в то время, когда продовольственная проблема не приобрела еще первостепенного значения. Главное тогда заключалось в том, чтобы не пустить врага в город, отбить его штурм. И эту задачу под руководством Жукова удалось выполнить, после чего Хозин вступил в командование 54-й армией и весь следующий месяц провел уже за пределами блокадного кольца – на Большой земле.

А Жданов находился в Ленинграде неотлучно. Пережил здесь первые тяжкие поражения – прорыв врагом Лужской оборонительной линии, вторжение противника в пригороды. Познал горечь обиды от жестких, уничижительных сталинских телеграмм. На его, Жданова, глазах замкнулось кольцо блокады в снаряды вражеской артиллерии стали рваться в центре города. И вот теперь новый страшный союзник немцев – голод – медленно, но беспощадно терзает людей, сводит их в могилу...

Жданову казалось, что сотни тысяч глаз смотрят на него с немым укором и безмолвно спрашивают: «Доколе?!»

На этот вопрос нельзя было ответить словами. Только делами надо отвечать! Точнее, только одним, главным, решающим делом: прорывом блокады. И все, что отодвигало это главное дело куда-то в отдаленное будущее, было решительно неприемлемо для Жданова.

– Вам нечего больше сказать? – спросил он Хозина, нахмурившись.

Хозин промолчал. Лишь спустя некоторое время последовал его неторопливый ответ:

– Есть, Андрей Александрович! Прошу вас подойти сюда. – И сам направился к стене, где висела большая карта, испещренная извилистыми красными и синими линиями, стрелами, флажками. Не оборачиваясь, но слыша, что Жданов тоже поднялся с кресла и встал за его спиной, Хозин ткнул в карту пальцем: – Вот отсюда, из района Кириши, Любани, противник начал свое октябрьское наступление. Его основные силы двинулись вот сюда, на Тихвин, через Грузине и Будогощь. Какова, по-вашему, последующая цель врага?

– Это элементарно, – сухо ответил Жданов, все еще не понимая, куда клонит командующий. – Конечно, немцы будут пробиваться к Лодейному Полю, постараются выйти на Свирь и соединиться с финнами. Мы же только что говорили об этом.

– Да, вы правы, – кивнул Хозин. – Но мы не коснулись другого – того, что имеет огромное значение не только для Ленинграда, а и для всей страны, для советско-германского фронта в целом. Простите меня, Андрей Александрович, но я хочу спросить вас напрямую: не ускользает ли от вашего внимания ясно наметившийся второй, вспомогательный удар немецкой группировки, действующей в районах Тихвина и Волхова? Учитываете вы или нет, что, наступая одновременно на Малую Вишеру и Бологое, противник имеет далеко идущие замыслы?

– Какие? – автоматически спросил Жданов.

– Выйти отсюда навстречу левому крылу группировки фон Бока. И он это сделает, если мы не навяжем ему серьезных боев за Тихвин и Волхов.

– Но есть еще Калининский фронт, – пожимая плечами, сказал Жданов. – Он отделяет...

– Да, сегодня пока отделяет фон Бока от фон Лееба, – продолжал Хозин. – Однако если они соединятся где-то в районе Вышнего Волочка, вы понимаете, что это будет означать для Москвы?

Жданов молчал. В этих доводах Хозина для него тоже не было ничего принципиально нового. Как один из руководителей партии, он всегда мыслил общегосударственными масштабами. И все-таки трагическое положение Ленинграда действительно приковало к себе все его помыслы. По-видимому, тут сказывались еще и отсутствие в последнее время прямых контактов со Сталиным и частая смена командующих. Все это вместе взятое конечно же ограничивало возможности Жданова, несколько сужало поле его зрения. Однако прямоота Хозина показала ему чрезмерной, больно задела самолюбие.

– Наступление немцев на Москву, пожалуй, уже выдохлось... – как бы про себя, не то спрашивая, не то утверждая», проговорил Жданов.

– Если не связать немцев боями в районе Тихвина и на Волховском направлении, если позволить фон Леебу вывести оттуда часть своих войск, оно может возобновиться, – убежденно сказал Хозин.

Жданов медленно пошел к столу, остановился у торца, взял из коробки новую папиросу, но не закурил, будто забыв о ней, и снова обернулся к Хозину:

– Во всем, что вы сейчас говорили, не учитывается только одно: возможность штурма Ленинграда.

– Я думаю и об этом, Андрей Александрович, – ответил Хозин, тоже подходя к столу. – Полностью исключить такую возможность нельзя...

– И для нас, ленинградцев, это является решающим обстоятельством! – быстро подхватил Жданов.

– Однако, по моему убеждению, – продолжал Хозин, – фон Лееб не в состоянии сейчас штурмовать город. Вы знаете, что то же утверждал и Жуков, уезжая от нас в Москву. А после отъезда Георгия Константиновича, насколько мне известно, немецкая группировка под Ленинградом пополнения не получала. Да и не может фон Лееб рассчитывать на пополнения, пока не решен исход битвы за Москву. Все взаимосвязано, Андрей Александрович!

Жданов еще сжимал в пальцах так и не закуренную папиросу. Потом сломал ее, бросил в пепельницу и сделал несколько медленных шагов по комнате...

Он думал о том, о чем не мог забыть ни днем, ни в ночные бессонные часы. Мысль об этом не оставляла Жданова ни на минуту, что бы он ни делал и о чем бы ни говорил. Она, эта мысль, укладывалась в четыре страшных слова; враг вблизи Кировского завода.

«Будущее всегда судит о прошлом по конечным результатам, – размышлял Жданов. – Оно, это будущее, наверное, поймет, что в сложившейся обстановке Ленинград не в силах был не пустить врага на свои окраины. Но если немцы захватят город, потому что руководители

обороны уступили чьей-то сомнительной концепции и в угоду ей бездумно вывели за пределы блокадного кольца значительную часть войск, этого нам не простит никто – ни современники, ни потомки!»

Сделав такой, теперь уже бесповоротный вывод, Жданов прекратил медленное шагание по своему большому, слабо освещенному кабинету и остановился все у того же длинного стола, по другую сторону которого застыл в ожидании Хозин.

– Нет, Михаил Семенович, – твердо сказал он, – я не могу согласиться с вами. Слишком велик риск. А Ленинград – чересчур высокая цена за успех на любом другом участке советско-германского фронта. Народ проклянет всех нас, если мы, ослабив ленинградский гарнизон, облегчим врагу штурм города. Да, я знаю, что фон Лееб не только не получает пополнений, а сам вынужден был передать часть своих войск фон Боку. Знаю и о том, что войска его измотаны. В этих обстоятельствах он едва ли решится на штурм. Но если мы примем ваши предложения, обстоятельства существенно изменятся, возникнут новые условия. Вывод трех дивизий и двух бригад, включая танковую, по единственному пути, который возможен, – через Ладогу, – навряд ли останется не замеченным разведкой противника. Да в прекращение нашего наступления с Невского плацдарма натолкнет немцев на некоторые невыгодные для нас умозаключения. Враг решит, что мы полностью выдохлись. Раньше или позже проникнутся таким же настроением и наши собственные войска и население Ленинграда. Сейчас люди все еще верят в скорый прорыв блокады и держатся. А если вы отнимете у них эту веру?! Словом, я против.

И Жданов направился к своему письменному столу, зажег там вторую настольную лампу, склонил голову над разложенными бумагами, давая понять командующему, что разговор окончен. Хозин едва заметно пожал плечами.

– Разрешите идти? – негромко спросил он.

– Да. Пожалуйста.

Хозин пошел к двери. Он уже полуоткрыл ее, когда снова услышал голос Жданова:

– Одну минуту!

Хозин повернулся.

– Я... не убедил вас? – В голосе Жданова прозвучала несвойственная ему просящая интонация.

– Нет, Андрей Александрович, – твердо ответил Хозин.

– Очень сожалею, – уже резко произнес Жданов. – Не буду вас больше задерживать.

И он опять склонился над бумагами.

В то же самое время в другой комнате Смольного генерал Воронов заканчивал свои не слишком обременительные сборы в дорогу.

За час до выезда на комендантский аэродром он отправился к Хозину.

– Хочу попрощаться, Михаил Семенович...

Хозин сидел за письменным столом и что-то сосредоточенно писал. Оглянувшись на голос Воронова, он отложил перо, посмотрел на ручные часы, спросил:

– Вы наметили отбыть в двадцать один ноль-ноль?.. Если разрешите, я сам зайду к вам минут через тридцать. Будет одна просьба, Николай Николаевич.

– Рад ее выполнить, – ответил Воронов. – Что-нибудь семье передать?

– Да, передать... Только не семье.

– Что же? И кому?

– Письмо. В Генштаб. Товарищу Шапошникову.

Воронов пристально посмотрел на Хозина.

– Хотите... настаивать?

– Не могу иначе, Николай Николаевич.

Воронов слегка развел руками. Молча опустился в кресло.

– Вам... все же не удалось убедить Андрея Александровича? – спросил Воронов.
– Нет. После заседания у нас был длинный разговор. Но Жданов остался при своем мнении.

– А Васнецов?

– С ним я больше не разговаривал.

Воронов медленно покачал головой:

– Идете на риск, Михаил Семенович.

– Мы с вами военные люди, Николай Николаевич. В случае необходимости обязаны рисковать. Даже жизнью.

– Жизнью пожертвовать иногда легче.

– Вы считаете, что я не прав?

– Нет, совсем наоборот, полагаю, что ваши предложения разумны, и я дал это понять на Военном совете. Но настаивать не мог. Не имел на то даже морального права... Думаете, мне легко возвращаться в Москву, не выполнив приказа Ставки? – горько улыбнулся Воронов.

– Он и не мог быть выполнен, – сказал Хозин. – Никто не знал, что немцы опередают нас, начнут наступление на Тихвин.

– «Никто не знал»!.. – все с той же горечью повторил Воронов. – Нас с вами, кажется, учили, что предвидение входит в круг обязанностей военачальника.

– Этот упрек можно адресовать не только нам.

На мгновение в глазах Воронова зажглись тревожные огоньки. Он наклонил голову и сказал тихо:

– Это не утешение. Мы обязаны отвечать за каждую неудачу и перед своей совестью и перед народом. Списывать собственные неудачи за счет противника – значит признать, что ход войны определяет он.

– Но до сих пор так оно и получалось, – угрюмо сказал Хозин. – Немцы наступали, мы оборонялись.

– Это и верно и неверно, Михаил Семенович. Верно потому, что Ленинград по-прежнему в блокаде и немец стоит под Москвой. Неверно же потому, что нам удалось сорвать почти все сроки, запланированные Гитлером. Тем более досадно, что мы не сумели осуществить хорошо задуманную наступательную операцию. В данном случае я адресую упрек себе лично.

– Напрасно, Николай Николаевич, зря вы себя казните. Прорвать блокаду в условиях немецкого наступления на Тихвин, при угрозе, нависшей над пятьдесят четвертой армией, возможности не было. В этом я уверен, так же как и в том, что сегодня продолжать наши атаки на «пяточке» бесполезно – только людей погубим.

– «Пятачок» нам еще пригодится, отдавать его нельзя ни в коем случае! – предостерег Воронов.

– Я и не собираюсь отдавать левобережный плацдарм! Но удержать его – одно, а пытаться наступать оттуда – совсем другое... Прорыв сейчас неосуществим, – слегка повышая голос, продолжал Хозин, – и я не вижу смысла оставлять в резерве несколько соединений с перспективой, что бойцы там превратятся в полудистрофиков, тогда как под Тихвином и Волховом каждый человек, каждая винтовка, каждый танк на вес золота! Не хочу после того, как немцы окончательно закрепятся в Тихвине, утешать себя мыслью, что это «не мой фронт»! И когда фон Лееб соединится на севере с финнами, а на юге с войсками фон Бока, тоже не хочу оправдываться тем, что я, мол, старался всячески, да не смог убедить товарища Жданова в необходимости воспрепятствовать этому.

– И все же не забывайте, Михаил Семенович, что Жданов – секретарь ЦК.

– А я коммунист и командующий фронтом! Авторитет Андрея Александровича для меня непререкаем. Но если я убежден, что он ошибается?..

– Его можно понять.

– Я понимаю, но уступить в данном случае не могу. Прорыв блокады и для меня – самое главное. Однако прямолинейный путь не всегда кратчайший... Словом, разрешите мне через полчаса вручить вам пакет. Если... вы готовы взять его, зная о содержании.

Воронов еще раз пристально посмотрел в глаза Хозину и, коротко ответив: «Я вас жду», вышел из кабинета.

Наступила ночь, зимняя, беспросветная, еще одна ленинградская блокадная ночь.

Люди, которым не предстояло провести эту ночь без сна – в окопах, траншеях или штабных землянках, в цехах у станков или за столами дежурных в районных и заводских парткомах, уже лежали в своих постелях, скованные холодом, забываясь на какое-то время и вновь просыпаясь в тревоге.

Жданов не спал, хотя в третьем часу перешел из своего служебного кабинета в жилой флигелек, расположенный тут же, на территории Смольного, и имел возможность соснуть там часа три-четыре.

Поднявшись на второй этаж, он снял тужурку, сапоги, сунул ноги в домашние туфли и включил стоявший возле кровати на тумбочке радиодинамик. Раздался мерный стук метронома. «Может быть, эта ночь вообще пройдет благополучно, без налетов в обстрелов?» – подумал Жданов. Потушил свет и лег поверх одеяла, не раздеваясь. Лежал, прислушиваясь к мерному, успокаивающему стуку метронома, а уснуть не мог: конфликт с Хозиным мучил его.

Жданов прекрасно понимал, что положение, которое он занимает в партии, в стране и здесь, в Ленинграде, обеспечивает ему последнее, решающее слово в возникшем споре. Ни одна дивизия, ни одна бригада не будут выведены из Ленинграда и наступательные бои в районе Невской Дубровки не прекратятся без его согласия или без приказа Ставки.

В своей правоте он не сомневался. Не случайно его позиция встретила единодушную поддержку со стороны Васнецова и других членов Военного совета. Но сознание, что командующий не только упорно отстаивал свою особую точку зрения, а и, вопреки мнению всего Военного совета, остался при ней, не давало покоя Жданову.

Ради престижа, только ради того, чтобы остаться победителем в споре, Жданов никогда не противопоставил бы своей огромной власти предложениям командующего. «А командующий? Почему он так упорствует?» – спрашивал себя Жданов и не находил ответа.

Несколько смущала и позиция Воронова. Однако ее можно было объяснить: после того как не удалась подготовленная под руководством Воронова операция по прорыву блокады, отстаивать возможность прорыва он, естественно, не мог. «А ведь не исключено, что и Хозин, – продолжал размышления Жданов, – разумеется, пусть не сознательно, не преднамеренно, но все же хочет таким вот образом оправдать неудачный исход операции, к которой он, как бывший командующий 54-й армией, тоже причастен?»

Причину совпадения позиций командующего и представителя Ставки Жданов видел еще и в том, что оба они маловато пожили в блокадном Ленинграде, а потому не в состоянии постичь в полной мере состояние духа ленинградцев, понять, что и население города и войска способны пойти на самые тяжкие испытания, на еще большие жертвы во имя избавления от блокады.

Как военные специалисты, и тот и другой, очевидно, в какой-то мере правы – он, Жданов, это допускал. Но нынешняя война не похожа на прежние. Руководствоваться в ней лишь чисто военными расчетами нельзя. В конце концов, немецкие генералы в таких расчетах тоже сильны, но добиться решающей победы до сих пор так и не смогли...

Жданов вспомнил, как еще перед войной, когда он по заданию ЦК занимался делами Военно-Морского Флота, затонула во время маневров одна подводная лодка. Экипаж ее удалось спасти. Жданов вызвал в Москву командира этой лодки, выяснил техническую сторону происшествия, а под конец беседы задал вопрос:

– У вас почти не было шансов на спасение. Вы могли надеяться только на помощь извне. Логично было бы прекратить всякую деятельность, экономить кислород. Почему вы не поступили так?

Командир, молодой человек, всего три года назад окончивший высшее военно-морское училище, подумал немного, потом виновато как-то развел руками:

– Сложить руки и ждать смерти? Нет, Андрей Александрович, нас учили иначе... К тому же я коммунист...

Жданов лежал в темноте с открытыми глазами. Только метровом нарушал необычную тишину. А сна не было.

На рассвете в спальне Жданова раздался телефонный звонок. Звонил Васнецов. Сообщил о своем намерении выехать в район Невской Дубровки.

– Проеду на КП Бычевского, – сказал он, – и вызову туда Болотникова.

Васнецов не объяснил, по какому именно делу собирается ехать. И Жданов не спросил его об этом, но интуитивно почувствовал, что нынешняя поездка Васнецова каким-то образом связана со вчерашним заседанием Военного совета.

Скорее по инерции, чем из деловых соображений, Жданов поинтересовался, как скоро Васнецов рассчитывает вернуться. Услышал в ответ, что к вечеру, и повесил трубку.

Через несколько минут после этого разговора «эмка», выкрашенная в белые с серыми разводами зимние камуфлирующие тона, помчалась от Смольного по пустынным, заснеженным улицам притихшего Ленинграда. Рядом с шофером сидел Васнецов, на заднем сиденье расположились два автоматчика.

Машина направилась по шоссе в сторону Всеволожского, чтобы затем, уже по проселочным дорогам, свернуть на юго-восток, к Невской Дубровке.

Жданов не ошибся в своих предположениях: между вчерашним конфликтом с Хозиным и сегодняшней поездкой Васнецова была прямая связь. Спор, в котором Васнецов активно участвовал на стороне Жданова, не прошел и не мог пройти для него бесследно.

Как человек импульсивный, он в еще большей степени, чем Жданов, проникся специфической «блокадной психологией», характерной для многих ленинградцев того времени. Этим людям начинало казаться, что понять их до конца могут только те, кто, как и они, начиная с сентября безвыездно находился в блокадном кольце, испытал на себе все бомбежки, все обстрелы, изо дня в день постоянно ощущал за своими плечами смерть, Хозин к этим людям не принадлежал, поскольку почти два месяца провел по ту сторону кольца, и уже потому Васнецов отнесся к его предложениям настороженно.

Та же «блокадная психология» порождала у «блокадников» не только особую гордость, но и укрепляла уверенность, что надеяться они должны прежде всего на свои силы и что прорвать блокаду суждено им самим. План же, предложенный Хозиным, исключал возможность прорыва блокады в ближайшее время. И примириться с этим Васнецов не мог.

Но вместе с тем он понимал, что лишь непоколебимая убежденность в своей правоте могла заставить Хозина пойти на столкновение с человеком, занимающим такое положение, как Жданов. В итоге этих размышлений и возникло желание безотлагательно выехать к Невской Дубровке...

Нет, выезжая туда, Васнецов был далек от сознательного намерения еще раз убедиться в перспективности наступательных боев с левобережного плацдарма. Такой вопрос перед ним просто не стоял. Даже тени сомнения в том, что наступление надо продолжать, у Васнецова не было.

И тем не менее, сидя в машине, мчавшейся к Невской Дубровке, Васнецов просто обманывал себя, убеждая, будто едет туда с совершенно конкретной целью – лично проконтролировать, как осуществляется переброска танков на плацдарм, и по возможности ускорить ее.

Потому и направился не в штаб Невской оперативной группы, а в штаб инженерных войск, в «хозяйство Бычевского», предварительно вызвав туда же командующего бронетанковыми войсками фронта генерала Болотникова.

Вырвавшись за город, «эмка» сбавила ход, потому что дорога здесь была скользкой, со следами буксовавших грузовиков, с рытвинами от проходивших здесь танков. Случалось сворачивать на обочину, чтобы пропустить санные обозы с ранеными и автофургоны с красными крестами на кузовах.

Время от времени водитель сигналил, чтобы колонны войск, двигавшиеся к Всеволожскому, приняли чуть в сторону.

Снега на дороге почти не было, его смели или утрамбовали сотни обутой в валенки солдатских ног, санные полозья и автомобильные шины. Однако по обочинам уже громоздились сугробы.

Васнецов с неудовольствием отметил про себя, что ему всего лишь один раз пришлось обогнать несколько танков, из чего следовало, что воевать на плацдарме и сегодня еще приходится главным образом силами пехоты.

У землянки Бычевского его встретил генерал Болотников, приземистый, точно раздавленный вишней человек. Вместе они спустились по скользким ступеням вниз.

В землянке царил полумрак. Дневной свет почти не проникал сюда через маленькое, прикрытое заиндевевшим стеклом оконце. Землянка освещалась лишь неярким карбидным фонарем, поставленным на дощатый стол. Где-то совсем неподалеку время от времени рвались снаряды, и огонек фонаря то устремлялся вверх тонкой струйкой, то оседал.

У стола вытянулся рослый полковник Бычевский. Потолок землянки явно стеснял его – подбородок почти касался груди.

Поздоровавшись с Бычевским и предложив ему сесть, Васнецов обернулся в сторону Болотникова и о усмешке сказал:

– Землянку, видимо, на ваш рост строили?

– Это, Сергей Афанасьевич, не мое хозяйство – инженерное, а сапожники, как в народе говорят, всегда сами без сапог ходят, – отшутился генерал.

Нестерпимая жара в землянке заставила Васнецова сразу же скинуть полушубок. То же сделал и Болотников. Втроем присели к столу: Васнецов – по одну его сторону, Болотников и Бычевский – по другую.

– Я приехал к вам, товарищи, – начал Васнецов, – чтобы выяснить, как обстоят дела на плацдарме?

Болотников и Бычевский недоуменно переглянулись. Предположить, что Васнецов прибыл сюда только для того, чтобы задать такой вопрос и в столь общей форме, было маловероятно. В Военный совет фронта ежедневно, даже дважды в день, пере» давалась по телеграфу подробная информация из штаба Невской оперативной группы. Если же дивизионный комиссар хотел уточнить что-то на месте, то почему бы ему не встретиться с командующим группой генералом Коньковым?

Но поскольку вопрос задан, на него надо отвечать. И это взял на себя старший по званию генерал Болотников.

– К сожалению, похвастать пока нечем. Арбузово противник отбил снова.

– Он отбил потому, – немедленно отреагировал Васнецов, – что активно применяет танки! А для нас переброска танков на левобережье все еще проблема!

Это уже касалось непосредственно Бычевского. С тех пор как началось планирование операции по прорыву блокады, начальник инженерных войск фронта почти безвыездно находился здесь, у Невской Дубровки, – организовал переправы, руководил монтажом паромов и строительством паромных пристаней.

Противник держал пристани и переправы под огнем своей артиллерии, обрушивал на них тяжелые авиабомбы. Плашкоуты с танками часто тонули, не достигнув левобережья. Но главная-то беда заключалась в том, что танков оставалось не так уж много. И Бычевский, задетый упреком Васнецова, попытался оправдаться:

– Нам нечего переправлять, Сергей Афанасьевич! Вчера с огромным трудом доставили на «пяточок» последние легкие танки. Четырнадцать единиц. Восемь из них уже сгорели в бою за Арбузово, а шесть остальных генерал Коньков приказал зарыть в землю, как неподвижные огневые точки...

– Полковник Бычевский говорит не о том, – вмешался Болотников. – Пусть у него не болит голова за легкие танки. Они на плацдарме не нужны: взламывать долговременную оборону противника им не по зубам. «КВ» – вот что там нужно! И я даю их, пока имею. А начальник инженерных войск пускай подумает, как переправить эти тяжелые машины на тот берег.

И, недовольно пофыркивая, переводя взгляд с Васнецова на Бычевского, генерал умолк.

– Это все, что вы хотели сказать, товарищ Болотников? – спросил Васнецов.

– А что же еще, товарищ дивизионный комиссар? Могу добавить только, что наступать здесь без тяжелых танков вообще бессмысленно.

У Васнецова кровь бросилась в лицо. Впалые его щеки заметно порозовели. Только три слова из того, что было сказано сейчас Болотниковым: «...наступать... вообще бессмысленно» – полностью дошли до него.

– Может быть, вы хотели бы прекратить бои на плацдарме? Поднести его немцам на блюдечке? – с недоброй интонацией в голосе спросил Васнецов.

И Болотников и Бычевский хорошо знали вспыльчивость Васнецова. Тем не менее сейчас он удивил их. Что, собственно, нового он услышал?

– Сергей Афанасьевич, вы не так поняли генерала, – вступился за Болотникова Бычевский. – Ни он, ни я ничего подобного не предполагаем. Ни у кого нет и мысли о прекращении боев на плацдарме. Но без тяжелых танков наступать там действительно трудно, в этом товарищ генерал прав!

– Так почему же вы не можете наладить переброску их на тот берег? – уже отходя, но все еще с раздражением продолжал Васнецов. – Сколько коммунистов работает у вас на переправе?

Бычевский пожал плечами:

– Не могу назвать вам сейчас точную цифру, Сергей Афанасьевич. Люди часто меняются – убыль в личном составе большая. Но докладываю с полной ответственностью: и на переправах и на самом «пяточке» беспартийных от коммунистов отличить трудно. Все работают и бьются с врагом без оглядки.

Это заявление подействовало на Васнецова, как масло на бушующее море.

– Тем более непростительно, что мы не в состоянии поддержать их наступательный порыв тяжелыми танками, – сказал он ровным голосом.

– Принимаю ваш упрек, – ответил Бычевский. – Но ведь межсезонье проклятое! Нева-то замерзает, да лед еще слабоват. Не выдерживает даже легкого танка, не то что «КВ». В нашем распоряжении осталась лишь узкая полоска свободной от льда воды. Только ею и пользуемся для переправы танков на паромах.

– Я был на переправе три дня назад и обстановку знаю, – прервал его Васнецов.

– Эту твою польню противник пристрелял давно и топит все, что появляется на воде, – угрюмо пробурчал Болотников.

– И об этом я знаю, – моментально откликнулся Васнецов. – Тем не менее вопрос стоит так: или мы прорвем блокаду, или обречены на голодную смерть. Вам понятно это?

Болотников и Бычевский промолчали.

– Вам известно, – еще громче продолжал Васнецов, – что хотя нам и удалось удержать Волхов, южное побережье Ладоги все еще под угрозой? Блокада должна быть прорвана во что

бы то ни стало!.. Кировцы дали слово горкому партии, несмотря ни на что, ускорить ремонт танков. Не сомневаюсь, они сдержат свое обещание. Но что в том толку, если мы не в состоянии переправить эти танки на тот берег?

Васнецов встал, сделал возбужденно два-три шага по тесной землянке, уперся в дверь и, повернувшись с поднятыми к груди кулаками, воскликнул:

– Мы, товарищи, обманываем доверие рабочих! Я хочу получить от вас ясный, прямой ответ: в состоянии мы справиться с нашими задачами? Или... вы не верите в реальность прорыва блокады?!

Последние слова вырвались у Васнецова в запальчивости. Он оценил их смысл, только услышав собственный голос. И настороженно, с какой-то опаской посмотрел на Болотникова и Бычевского. Потом махнул рукой, вернулся к столу, сказал сдержанно:

– Хотелось бы услышать ваши предложения.

– Одно предложение есть, – как бы размышляя вслух, начал Бычевский.

– Какое? – не скрывая своего нетерпения, повернулся к нему Васнецов.

Но Бычевский не торопился с ответом, верно угадывая, что Васнецова глубоко волнует сейчас нечто большее, чем транспортирование танков через Неву. Кадровый командир Красной Армии, коренной ленинградец, несколько раз за время своей службы в штабе округа избравшийся членом бюро парторганизации, делегат многих партконференций и непременный участник городских собраний партийного актива, он давно и достаточно хорошо знал секретаря горкома. Бычевскому доводилось видеть его радостным и озабоченным, доброжелательно мягким и непримиримо резким, Васнецова-пропагандиста и Васнецова-трибуна. И теперь эти наблюдения, этот опыт прошлого опять подсказывали Бычевскому, что дивизионный комиссар приехал сюда неспроста, что им владеет какая-то не высказанная еще до конца тревога и все, что он видит и слышит сейчас, воспринимает под каким-то особым углом зрения. Момент не очень подходящий для обсуждения инженерного замысла и тактического маневра с ограниченными целями. И все-таки Бычевский рискнул.

– Я не могу гарантировать успеха, если это мое предложение будет принято, но попытаться можно, – неторопливо продолжал он. – Попробуем обмануть противника. Начнем демонстративно строить новые переправы как бы для того, чтобы обеспечить переброску танков по льду, когда он окрепнет. Немцы наверняка перенесут огонь туда, а мы тем временем сумеем переправить несколько тяжелых танков по воде, на паромов.

– Но когда Нева замерзнет окончательно, танки все же придется переправлять по льду. А при ваших демонстративных действиях противник разобьет лед снарядами, – предостерег Васнецов.

– Будем строить тяжелые переправы, которые не так-то просто разбить.

– Что это значит: «тяжелые»?

– Усиленные тросами, замороженными в лед. Правда, у нас нет пока тросов.

– Ничего не выйдет, – безнадежно махнул рукой Болотников, однако Васнецов уже ухватился за предложение Бычевского. Чувствовалось, что он не вполне еще представляет себе техническую сторону дела, но самый факт вдруг открывшейся возможности ускорить переброску на плацдарм тяжелых танков явно обрадовал его.

– Сколько же троса вам понадобится? – спросил он Бычевского.

– Скажем, километров десять.

Васнецов вынул из кармана гимнастерки записную книжку, сделал в ней карандашом какую-то пометку. Потом сказал:

– Хорошо. А сколько тяжелых танков можно будет перебросить водой, если немцы клюнут на вашу приманку?

– Тут все упирается в понтоны для паромов, Сергей Афанасьевич, – сказал Бычевский и вздохнул. – К сожалению, понтонов у нас маловато.

– Назовите заводы, которые могут наладить выпуск их в достаточном количестве, я сам поеду туда, поговорю с рабочими, соберу коммунистов, комсомольцев! – пообещал Васнецов.

– Дело не в рабочих, Сергей Афанасьевич.

– А в ком же или в чем дело?

– В электроэнергии. Если бы можно было обязать Ленэнерго дать дополнительно хотя бы... ну, пять тысяч киловатт. Специально для сварочных работ.

Карандаш Васнецова, уже готовый вновь коснуться бумаги, застыл в воздухе.

«Пять тысяч киловатт... – повторил он про себя. – Для мирного Ленинграда, даже для Ленинграда первых месяцев войны – это сущая мелочь, капля в море. Но сегодня, когда нет топлива для электростанций, когда город погружен во мрак, когда госпитали, детские дома и хлебопекарни пришлось посадить на голодный энергетический паек!.. Пять тысяч киловатт... Откуда их взять?!»

– Посоветуюсь с Андреем Александровичем, – сказал Васнецов тусклым голосом и все-таки сделал еще одну пометку в своей записной книжке. – А понтонеров достаточно? – спросил он, снова устремляя взгляд на Бычевского. – Имейте в виду, метростроевцев мы от вас заберем, этими кадрами рисковать нельзя!

– Не отдам, Сергей Афанасьевич! – с неожиданной твердостью заявил Бычевский. – Понтонеров и так не хватает. А о метро все уже и думать забыли!

Мимолетное его заявление о метро подействовало на Васнецова как удар хлыста. Он даже хлопнул ладонью по столу.

– Не смейте так говорить! Никто не забыл о метро! И оно у нас будет!

Бычевский стал оправдываться:

– Я хотел... я просто хотел сказать, что и после войны метро вряд ли станет первоочередной стройкой. Ведь в городе столько разрушений!..

Васнецов устыдился за свой выкрик и особенно за этот звонкий хлопок ладонью по столешнице.

– Простите, товарищи. Нервы сдают. Извините... Кстати, по каким нормам снабжают понтонеров?

– Пока по нормам переднего края, – доложил Бычевский, – но управление тыла грозит урезать...

Васнецов вынул платок, вытер выступившие на лбу капли пота и, глядя куда-то в сторону, сказал:

– Очень жарко у вас. Сильно топите... Пойдемте-ка к переправам.

Болотников и Бычевский поднялись со своих мест одновременно.

– Нет, Сергей Афанасьевич! – решительно сказал Болотников. – Туда ходить не следует.

– Что это значит? – удивился Васнецов.

– По переправам бьют непрерывно.

– В таком случае вы можете не ходить со мной, – пожал плечами Васнецов и протянул руку к своему полушубку.

Бычевский и Болотников мгновенно оказались перед ним.

– Товарищ дивизионный комиссар, – вытягиваясь и слегка откидывая назад голову, неуступчиво объявил Болотников, – без специального решения Военного совета допустить вас в район обстрела не могу. Не имею права.

– Перестаньте говорить глупости, я десятки раз бывал на переправах, и никаких решений перед тем не выносилось, – уже сердясь, сказал Васнецов, делая еще шаг к своему полушубку. Но генерал и полковник стояли на пути стеной.

Васнецов недоуменно глядел на них, не зная, что и делать: употребить власть или попросту рассмеяться.

Не мог он представить себе, что еще до того, как его машина выехала из ворот Смольного, здесь, в землянке Бычевского, раздался телефонный звонок. Сняв трубку, полковник услышал голос полкового комиссара Кузнецова: «Сейчас будете говорить с товарищем Ждановым». Вслед за тем раздался щелчок переключаемого телефона и послышался знакомый тенорок. Жданов спросил, какова обстановка на переправе. Бычевский доложил, что противник активно обстреливает правый берег, повредил паромную пристань, но ремонт ее уже заканчивается. «Вот что, – негромко, но твердо сказал Жданов, – у вас скоро будет товарищ Васнецов. К переправе его сегодня не пускайте. – Помолчал и добавил строже: – Ни в коем случае!»

Бычевский хотел спросить, каким это образом сможет он запретить члену Военного совета пойти туда, куда тому захочется, но категоричность Жданова заставила воздержаться от вопросов. Ответил коротко: «Слушаюсь!»

Об этом телефонном разговоре Бычевский рассказал появившемуся чуть позже Болотникову. Вместе они решили, что в такой необычной ситуации генерал, как старший по званию, должен взять инициативу на себя. И вот он стоял теперь перед Васнецовым будто непрошибаемая скала.

– Не могу допустить, – упрямо повторил Болотников. – К тому же на машине туда днем не проехать.

– Тогда я пойду пешком! – не сдавался Васнецов. – Я же должен поговорить с людьми, товарищи дорогие! Неужели вам это непонятно? Мне обязательно надо именно сегодня побеседовать с теми, кто работает на переправах непосредственно.

– Так это мы сейчас организуем! – обрадованно воскликнул Бычевский. – Сейчас же вызову командира саперного батальона! – И, не дожидаясь согласия Васнецова, крикнул в полуоткрытую дверь: – Адъютант! Капитана Суровцева сюда!

Прошло, однако, не менее сорока минут, прежде чем Суровцев появился в землянке.

Сориентировался он не сразу. Увидел приземистого, с квадратным туловищем генерала, полковника Бычевского, с которым ему уже доводилось встречаться после возвращения из госпиталя. У дальнего края стола сидел еще кто-то...

Убеденный, что генерал является здесь старшим, Суровцев стал докладывать ему о своем прибытии. Но генерал прервал:

– Докладывайте члену Военного совета.

Членом Военного совета мог быть здесь только один – тот, кто сидел под промерзшим оконцем, у дальнего конца стола, куда почти не достигал свет карбидного фонаря. Суровцев сделал полуоборот в его сторону и возобновил свой доклад.

Из-за стола вышел относительно молодой человек, с зелеными ромбами в петлицах и красной звездой на рукаве гимнастерки.

«Это же Васнецов!» – узнал Суровцев.

– Здравствуйте, – сказал Васнецов, протягивая руку.

Суровцев стоял перед ним в грязном, замасленном ватнике, в обледенелых – потому что нередко приходилось шлепать по воде в кирзовых сапогах, с которых здесь, в тепле, уже потекли тонкие струйки. Вызов на КП застал его в тот момент, когда он лазал по паромной пристани, отремонтированной после того, как вчера вечером в нее угодил снаряд: пристань требовалось восстановить быстро – работать днем не давала вражеская артиллерия, – а надо было, чтобы с наступлением темноты здесь опять могли швартоваться паромы.

Убедившись, что пристань теперь уже в исправности, Суровцев намеревался соснуть в своей землянке хотя бы часа два. Он очень устал: всю ночь пришлось руководить переброской на плацдарм людей и танков. Последний танк подошел к переправе часов в шесть утра. Суровцев распорядился подтянуть к пристани паром и дал команду высунувшемуся из люка механику-водителю загонять машину на деревянную площадку, укрепленную на двух понтонах.

Водитель с сомнением глядел на эту шаткую основу, покачивающуюся на черной воде, пока Суровцев не рывкнул на него. Водитель исчез в люке, через минуту заработал двигатель, и танк медленно пополз на паром, который удерживали за причальный канат четверо бойцов-понтонеров.

В этот самый момент в воздухе с хлопками и шипением взорвались немецкие осветительные ракеты, а еще несколько мгновений спустя на пристань обрушились тяжелые снаряды и мины. И сразу же загрохотала в ответ наша артиллерия.

Танк резко подался назад: водитель, видимо, решил, что понтонеры разбежались из-за обстрела и зыбкий деревянный настил, никем теперь не удерживаемый, уплывет из-под гусениц при первом же соприкосновении с ними. Это было опасным заблуждением, и Суровцев бросился к танку, загрохотал рукояткой пистолета по броне. Танк остановился.

Костя водителя последними словами, Суровцев требовал, чтобы тот не мешкая заводил машину на паром. Единственный шанс на спасение – быстрее достичь по полынье «мертвого пространства».

Кое-как паром отвалил от пристани. И вовремя, потому что минутой позже, как раз там, где швартовался паром, угол сборной, бревенчатой пристани разбило прямым попаданием снаряда. Немцы били и по парому, однако безрезультатно – он успел уйти под прикрытие высокого противоположного берега...

...Прежде чем позвать протянутую Васнецовым руку, Суровцев осмотрел растерянно свою грязную ладонь – сквозь масло и еще какую-то черноту на ней явственно проступала запекшаяся кровь. Хриплым, простуженным голосом ответил:

– Здравствуйте, товарищ дивизионный комиссар!

– Оставьте нас, пожалуйста, – попросил Васнецов, обращаясь к Болотникову и Бычевскому, – хочу поговорить с капитаном наедине.

Те молча надели свои полушубки, нахлобучили шапки и вышли из землянки.

– Присядьте, – сказал Васнецов Суровцеву, когда они остались одни, и кивнул на раскаленную печку: – Вам не жарко?

Суровцев хотел ответить, что после ветра и ледяной невской воды он еще не успел почувствовать тепла, но промолчал. Расстегнув ватник, подсел к столу.

– Вы член партии, товарищ Суровцев? – начал Васнецов.

– Кандидат, – ответил Суровцев и добавил: – С тридцать девятого года.

– Значит, срок кандидатский вышел, – заметил Васнецов, – пора вступать в члены.

– Я... не мог, товарищ дивизионный комиссар, – запинаясь, сказал Суровцев. – С первых дней на фронте. То в одном полку, то в другом. Сами видите.

Васнецов пропустил было мимо ушей последние слова Суровцева: «Сами видите». Но тут же он мысленно вернулся к ним, пытаясь понять их смысл. И Суровцев, как бы читая мысли Васнецова, улыбнувшись, уточнил:

– Мы же с вами встречались, товарищ дивизионный комиссар.

– Да? – переспросил Васнецов, оживляясь. – И где же?

– На Пулковской высоте.

Васнецов внимательно вглядывался в лицо Суровцева. Не то вопросительно, не то утвердительно произнес:

– Обсерватория...

– Точно, товарищ дивизионный комиссар!

– Ну конечно, обсерватория! – обрадовавшись, что не подвела память, воскликнул Васнецов и снова пристально посмотрел на Суровцева. – Вы тогда, насколько я помню, стрелковым батальоном командовали, а теперь, значит, в саперы переквалифицировались?

– Это я тогда переквалифицировался... из сапера в общевойсковика, – усмехнулся Суровцев. – Даже не тогда – чуть раньше. А теперь вернулся, как говорится, на круги своя.

– Понимаю. Полковник Бычевский говорил мне, что забрал с «пяточка» всех, кто раньше служил в инженерных войсках. – И опять оживился, припоминая: – А комиссаром тогда был у вас такой... ну, не очень молодой старший политрук. Верно?

– Был, – ответил, потупясь, Суровцев.

– Убит?

– Нет, что вы! – как-то испуганно откликнулся Суровцев. – Просто, когда я из госпиталя вернулся, комиссара на месте не застал. Ранило его, и батальона моего, в сущности, не было: в ключья немцы разметали... А комиссар уцелел! – неожиданно громко, точно споря с кем-то, почти выкрикнул Суровцев. – Ребята его живым видели...

– Будем надеяться, что вы еще встретитесь! – ободрил Васнецов и наклонился над столом вперед, ближе к Суровцеву. – Есть у меня к вам еще один вопрос, товарищ капитан. Бычевский рассказал мне, что вы из госпиталя удрали, не долечившись. Так? – Васнецов произнес это таким тоном и столь пристально поглядел на Суровцева, что тому подумалось: «Уж не собирается ли он взыскание накладывать?» Отвел глаза в сторону и ответил:

– Было дело.

– Так вот я и хочу спросить, – продолжал Васнецов, – что вас заставило уйти из госпиталя, не долечившись? О чем вы думали, возвращаясь сюда, к Неве?

Внезапно Суровцев почувствовал, что ему стало как-то скучно. «Политработник! – с какой-то внутренней усмешкой произнес он про себя. – Ждет, что я начну сейчас выкладывать ему как по писаному: Родина, мол, позвала».

В сущности, Суровцев не соврал бы, если б дал именно такой ответ. Чувства, которые он испытывал, лежа на госпитальной койке, в переводе на язык газетных передовых вполне соответствовали этому.

Тем не менее ему не хотелось объясняться с Васнецовым таким вот образом. И вообще не желал он чеканить звонкую монету из того, что пережил тогда. «Может, тебе еще и про бомбу рассказать?» – с раздражением подумал он.

– Что же вы молчите, капитан? – нетерпеливо спросил Васнецов.

– Еда в госпитале неважная, товарищ дивизионный комиссар, – с явной уже теперь усмешкой ответил Суровцев, – тыловая норма!.. А думал, когда уходил, только об одном: на патруль не наскочить бы. Без документов ведь...

Сказав это, Суровцев посмотрел прямо в лицо Васнецову, ожидая увидеть на нем выражение недовольства. Но, к своему удивлению, не обнаружил ничего подобного. Васнецов даже качнул утвердительно головой, сказал согласно:

– Да, теперь плохо кормят в госпиталях. Очень плохо. Хотя все же лучше, чем гражданское население...

Он произнес эти слова как-то отрешенно, точно обращал их не к Суровцеву. С какой-то не высказанной до конца, усилием воли сдерживаемой внутренней болью. Потом спросил сочувственно:

– Наверное, и холодно там было, да? Нечем топить госпитали...

Суровцеву стало не по себе. Он устыдился, что затеял эту нелепую игру, к которой были склонны многие фронтовики перед лицом тылового начальства. Теперь она представлялась Суровцеву жалкой, мальчишеской. Оказывается, никаких громких фраз Васнецов от него не ждал и принял всерьез ссылку на то, что в госпитале было голодно. Васнецову даже в голову не приходило, что кто-то посмеет шутить сейчас такими словами, как «голод» и «холод»...

Суровцев поспешил поправиться:

– Тяжко, товарищ дивизионный комиссар, лежать в госпитале, зная, что батальон остался без командира. И было обидно, что блокаду прорвут без меня. Потому и вернулся.

– Значит, не могли не вернуться? – упорно добивался Васнецов.

– Не мог, – задумчиво проговорил Суровцев... – Только лучше бы мне сюда не возвращаться.

От такого неожиданного заявления Васнецов заметно подался назад, всем туловищем прижался к бревенчатой стене. Резко спросил:

– Как это понимать?

– Сейчас все объясню, товарищ дивизионный комиссар, – сказал Суровцев. – Ранило меня в бою за Арбузово – знаете, такая деревня есть на той стороне Невы, на «пяточке»? Мне довелось провоевать за нее меньше суток. Возвращаясь на «пяточок» из госпиталя, был уверен, что наши вперед ушли километров... ну, хоть на восемь. Подхожу к Дубровке, навстречу раненых везут. Спросил: «Где дрались, ребята?» – «За Арбузово, говорят, бои идут». Вы понимаете, опять за Арбузово! – с горечью воскликнул Суровцев. – За три почти недели никакого продвижения! Ну, может быть, на сотню-другую метров! И все!

Васнецов молчал. Совсем иного ждал он от разговора с этим командиром инженерного батальона, которого Бычевский охарактеризовал как человека, хорошо знающего и условия боев на «пяточке» и все трудности, связанные с переправой туда танков. Рассчитывал, что Суровцев сообщит ему нечто такое, что укролось от глаз старших начальников. По опыту довоенной партийной работы Васнецов знал, что, когда завод находится в прорыве и надо выяснить, где корень зла, нельзя ограничиваться беседой с директором, с начальниками цехов, необходимо идти к рабочим, к бригадирам, мастерам, партгруппоргам. С них же нужно начинать и подготовку к производственному штурму, если завод получил ответственное задание, которое к тому же требуется выполнить досрочно.

От Суровцева Васнецов тоже хотел услышать какие-то практические советы, деловые предложения, как бы лучше организовать переправу. А он вместо этого...

Васнецов еле сдерживался, чтобы не вспылить. С его губ уже готовы были сорваться упреки в малодушии, пессимизме, хныканье...

Усилием воли он подавил в себе эту вспышку гнева, молча рассудив: «Какое я имею право упрекать его? Ведь этот человек командовал батальоном, принявшим на себя главный удар врага у Пулковских высот, и враг не прошел! На „пяточке“ этот Суровцев тоже уже собственной кровью заплатил за наше общее стремление прорвать блокаду. И вернулся он сюда, в эту страшную мясорубку, без приказа, по велению сердца. Нет, я не имею права упрекать его... Надо иначе... иначе!»

А вслух, собравшись с мыслями, сказал:

– Мы не смогли прорвать блокаду не потому, что бойцам и командирам нашим не хватало воли к победе. Вся беда в том, что немцам удалось опередить нас своим наступлением на Тихвин и Волхов. Но чтобы все-таки прорвать блокаду, нам необходимо сейчас удвоить и утроить свои усилия именно здесь, на «пяточке».

– А танки и артиллерия тоже будут удвоены или утроены, товарищ дивизионный комиссар? – спросил Суровцев.

Васнецов настороженно посмотрел на капитана. Показалось, что в голосе Суровцева прозвучала ирония. Впрочем, нет: Суровцев простодушно смотрел на него широко раскрытыми глазами, ожидая ответа по существу.

– Ты же знаешь, товарищ Суровцев, что это сейчас неосуществимо, – оставив официальный тон, сказал Васнецов. – Враг стоит под Москвой, и новые танки направляются именно туда. Нам надо управляться с тем, что имеем, немедленно восстанавливая каждый подбитый танк. И кировцы стараются. Но в цехах холод, обстрелы по нескольку раз в день, рабочие недоедают, зарегистрирован уже ряд случаев голодной смерти за станком. Нельзя требовать от этих людей невозможного.

– А от тех, кто на «пяточке», – можно?! – опять спросил Суровцев.

Васнецов даже вздрогнул от этого его вопроса и снова перешел на «вы».

– Я не понимаю вас, товарищ капитан. У Пулкова вы таких вопросов не задавали.

– Не задавал, товарищ дивизионный комиссар. И в голову не приходило задавать. Но это там. А здесь иное...

И Суровцев умолк. Молчал и Васнецов. Они смотрели друг другу в глаза, и каждый из них знал, что хочет сказать его собеседник.

«Вам известно, что ни один из командиров взвода, роты, батальона не остается невредимым, пробыв хотя бы сутки на „пяточке“? – спрашивал взглядом Суровцев. – Вам известно, что мы получаем меньше трети потребных танков, а из полученных половину враг топит на переправе? Вы знаете, какова убыль среди понтонеров?...»

«Знаю, все знаю! – так же безмолвно отвечал Васнецов. – А вот ты многого не знаешь. Если бы ты знал, что известно мне, – о количестве людей, уже умерших в Ленинграде в результате голода и связанных с ним болезней, о том, что через две-три недели голод может стать и, наверное, станет массовым. И что только надеждой на скорый прорыв блокады поддерживаем мы силы измученных ленинградцев. Если бы ты знал все это, то не стал бы задавать мне своих вопросов!...»

И Суровцев понял смысл того, что хотел ему сказать Васнецов.

– Мы будем драться, товарищ дивизионный комиссар, – тихо произнес он. – Пока живы, плацдарм не отдадим. Но ведь умереть на этом «пяточке» не самое мудрое. Кому мы, мертвые, нужны! Трупам, даже горой трупов врага не остановишь, а у нас здесь задача не просто держать плацдарм, мы должны наступать!

– Это верно, – согласился Васнецов. – Задача именно такая... – И, передернув плечами, точно сбрасывая с себя груз тяжелых, горьких мыслей, предложил: – Давайте перейдем к конкретному разговору. О танках я уже слышал. Со дня на день окрепнет невиский лед. Тогда можно будет переправлять их сразу в нескольких местах. У Бычевского есть проект строить «тяжелые» переправы, вмораживая в лед тросы. Мы постараемся раздобыть потребное количество тросов. А теперь скажите вы мне и как общевойсковой командир, лично дравшийся на «пяточке», и как военный инженер, работающий на переправе: если наладим переброску тяжелых танков, прорвем блокаду? Говорите прямо и честно.

«Прямо и честно?» – мысленно произнес про себя Суровцев и повторил вслух:

– Прямо и честно?.. Если утроить количество тяжелых танков и орудий, тогда, возможно, прорвем.

«Утроить! – с горечью подумал Васнецов. – Понимает ли он, этот капитан, что говорит? Даже об удвоении не может быть речи...»

– Что ж, – глухо произнес Васнецов, вставая, – спасибо за откровенность. – Он внимательно посмотрел в глаза тоже вставшему Суровцеву и только сейчас заметил, что перед ним стоит измученный бессонными ночами, недоеданием, иссеченный ледяным ветром, рано начавший сидеть человек. – У меня есть еще один вопрос... точнее, предложение, – неуверенно произнес Васнецов. – Вы были ранены, ушли из госпиталя, не долечившись. Хотите, я распоряжусь, чтобы дали вам недельный отпуск? Можете съездить в Ленинград... У вас есть семья?

На мгновение мысль о том, что он сможет увидеть Веру, вытеснила у Суровцева все остальное. В какие-то считанные секунды он представил себе, как приближается к госпиталю, как поднимается по лестнице...

Но что он ответит ей, если Вера спросит: «Как там, у Невской Дубровки?» Чем утешит, если мать ее находится при смерти? Какую подаст надежду?... А может быть, она и не хочет видеть его? Может быть, объявился, вернулся тот, другой человек, к которому она устремлена все время?..

– Семьи у меня нет, – ответил Суровцев. – Есть мать. Но она далеко...

– Все равно, – возразил Васнецов, – сменить на несколько дней обстановку вам не вредно. Суровцев улыбнулся. Это была уже явно ироническая улыбка.

– Сменить обстановку? – повторил он. – Вернуться в голодный, холодный, разбиваемый снарядами город и думать, день и ночь думать и гадать о том, что происходит здесь, у Невы? Нет, товарищ дивизионный комиссар. Я останусь тут. При деле легче.

Суровцев надел ушанку, одернул ватник, кинул к виску ладонь:

– Разрешите идти?

– Идите, – разрешил Васнецов и совсем неофициально добавил: – Надо выдержать, капитан! Всем нам надо выдержать. Больше мне сказать нечего. Попроси там, чтобы позвали сюда Болотникова и Бычевского.

Поджидая их, он попробовал подвести итог встречи с Суровцевым. Наедине спросил себя придиричиво: «Бесполезный разговор?.. Без конкретных результатов? Без следа?..»

Нет. След остался. Какой? Васнецову еще трудно было определить. Но он чувствовал: след остался...

Когда Васнецов возвращался в Смольный, в городе было уже темно.

Он сидел в своей «эмке», почти упрятав лицо в приподнятый воротник полушубка. Шоферу и расположившимся позади автоматчикам казалось, что член Военного совета задремал.

Но Васнецов бодрствовал. Мысль его работала напряженно. Возникали и решались тут же десятки самых разнообразных вопросов. И только один вопрос, одна проблема оставалась перед ним постоянно: судьба Невского плацдарма.

Васнецов по-прежнему был убежден, что именно там решится будущее Ленинграда. Именно там завязан главный узел на шее города и там, только там есть возможность его разрубить.

Он настолько свыкся с этой мыслью, она настолько вошла в его плоть и кровь, что казалось, нет и не может быть аргументов, которые заставили бы Васнецова расстаться с ней.

Объективно оценить возможности наступления с Невского плацдарма Васнецов был уже не в состоянии. Он представлял себе этот плацдарм с развалинами ГЭС и двумя почти исчезнувшими деревеньками – Московской Дубровкой и Арбузовом – лишь на фоне коченеющего от холода и охваченного голодом Ленинграда. С этим, шириной в 2–3 километра и глубиной всего в 600 метров, клочком земли были связаны у Васнецова все надежды на избавление громадного города от ужасов блокады. Однако, будучи человеком практическим, Васнецов не мог не отдавать себе отчета в том, что осуществление его надежд, казавшееся столь близким во второй половине октября, неумолимо отдалается. Одна за другой возникают все новые трудности. Сперва не хватало плавсредств для переброски войск через Неву. Потом, когда немцы пристреляли всю ту часть правого берега, с которой осуществлялась переправа живой силы и техники на левобережье, к этому прибавилась нехватка артиллерии, способной подавить вражеские батареи...

Но Васнецов, как и Жданов, по-прежнему жил верой в прорыв. Он не сомневался, что при новом нечеловеческом напряжении воли можно отремонтировать и вооружить достаточное количество боевых машин, а трудности с переправой их окончатся, как только окрепнет лед на Неве.

Фанатическое упорство? Нет. Потому что альтернативой прорыву блокады была голодная смерть десятков и сотен тысяч людей. Потому что другой возможности избавить город от смерти не существовало. Потому что в эти дни самая страшная фантазия не могла допустить, чтобы блокада продлилась более двух лет.

...Жданов верно угадал, что Васнецов поехал к Неве, желая лишний раз убедиться в возможности, нет, еще сильнее утвердиться в решимости продолжать наступательные бои. Яростное восклицание Васнецова во время разговора с Болотниковым и Бычевским: «Или вы не

верите в реальность прорыва блокады?!» – было всего лишь риторическим вопросом. В положительном их ответе он не сомневался.

В сознании Васнецова трудности наступления никогда не складывались в единую неразрешимую проблему, а всегда дробились на множество отдельных задач, которые надо и можно решить. Надо увеличить количество танков! Надо ускорить производство понтонов! Надо подбросить на «пяточек» еще одну танковую часть, еще одно стрелковое соединение!..

После разговора с Болотниковым и Бычевским добавились еще два «надо»: достать стальные тросы и обеспечить электроэнергией сварочные работы...

С тем и вернулся бы Васнецов в Смольный, если бы не встретился с Суровцевым. Странная эта встреча посеяла в душе его сомнения, чего днем раньше не сумел добиться даже командующий фронтом.

Почему произошло именно так, Васнецов и сам не объяснил бы.

«Нельзя требовать от трудового Ленинграда невозможного!» – сказал он Суровцеву. И что же услышал в ответ? «А от тех, кто на „пяточке“, – можно?!»

Васнецов хотел забыть эти слова Суровцева, но не мог, хотя старался всячески, чтобы услышанное от Суровцева было смыто, исчезло из памяти, как исчезает под набегающей морской волной человеческий след на прибрежном песке.

«Может быть, трус этот Суровцев или у него сдали нервы? – спрашивал себя Васнецов. И ощутил чувство стыда за такое предположение. – Он же не ухватился за мое предложение отдохнуть! И совсем не трусом показал себя в боях, где решалась судьба Ленинграда – у Пулковских высот, на „Невском пяточке“. Получив ранение, вернулся в строй, не долечившись... Нет, трусы ведут себя иначе! Тем не менее ясно, что сегодня этот человек не верит в успех нашего наступления...»

...Васнецов поднял голову, откинулся на спинку сиденья и повел плечами, чтобы немного размяться.

Машина ехала уже по улицам города. Мостовые прикрывал снег, и только посередине их чернела колея, проложенная сотнями автомобильных колес. Снег лежал и на развалинах разбитых бомбами или снарядами зданий. Прохожих было мало, и все они выглядели как-то уныло-однообразно, бесформенно – мужчины в пальто и шубах с поднятыми воротниками, в низко надвинутых шапках, женщины, укутанные платками.

Одна из улиц оказалась совсем пустынной, только в дальнем конце ее виднелся какой-то человек. Васнецов никак не мог определить, мужчина это или женщина. Двигался человек довольно странно, будто слепой, на ощупь, и тем привлек к себе внимание Васнецова.

Расстояние между автомашиной и этим прохожим быстро сокращалось. И когда их разделяли какие-нибудь десятки метров, человек внезапно остановился, потоптался на месте, раскинул руки, словно ища невидимую опору, и рухнул в снег.

Васнецову показалось сначала, что тот просто поскользнулся. Но человек продолжал лежать на снегу.

– Остановись! – приказал Васнецов водителю.

Машина вильнула на гладкой, наезженной колее и замерла.

– Пойдите посмотрите, что с ним! – сказал Васнецов, обращаясь к автоматчикам, и тут же изменил свое решение: – Не надо. Я сам.

Он открыл дверцу машины и вышел. Автоматчики последовали за ним.

Дул сильный, ледяной ветер, и Васнецову подумалось, что, если такая погода продержится еще два-три дня, лед на Неве должен окрепнуть окончательно, да и на Ладоге тоже. Пряча лицо в воротник полушубка и высоко поднимая проваливающиеся в снег ноги, Васнецов пробрался к тротуару.

Человек по-прежнему лежал неподвижно. Васнецов склонился над ним. Это был мужчина, хотя его каракулевую шапку прикрывал женский пуховый платок, обернутый вокруг шеи и завязанный на спине крест-накрест.

Мужчина лежал на боку, спиной к Васнецову. Тот слегка потормошил его за плечо. Потом приподнял обеими руками и повернул лицом вверх. Лицо было серым, обветренные губы синюшного цвета.

«Очевидно, сердечный приступ», – подумал Васнецов. Выпрямился и приказал автоматчикам:

– Перенесите его в машину!

Бойцы закинули за спины свои автоматы и подняли человека, все еще не подававшего никаких признаков жизни. Васнецов помог им нести обмякшее тело.

– Помер? – спросил спешивший навстречу водитель.

– Не знаю, – ответил Васнецов. – Надо везти в больницу.

Автоматчикам было приказано добираться в Смольный на попутных, а «эмка» повернула назад – Васнецову запомнилось там серое, четырехэтажное здание, над подъездом которого ветер трепал белый флажок с красным крестом посередине.

Минут через пятнадцать Васнецов вбежал в небольшую комнатку, где горела вполнакала одна-единственная электрическая лампочка и у железной печи сидели две девушки. Они выглядели очень толстыми из-за того, что бело-серые их халаты были натянуты поверх пальто. Лица же девушек казались малюсенькими, будто ссохшимися.

– Там у меня в машине человек, – сказал Васнецов. – Надо взять его.

– Ранен? – деловито осведомилась одна из девушек, вставая.

– Нет. Потерял сознание на улице.

– А-а, – как-то разочарованно протянула девушка.

– Нельзя ли побыстрей? – рассердился Васнецов. – Вызовите врача и санитаров.

– Сами обойдемся, – безразлично ответила девушка и обратилась ко второй, все еще сидевшей у печки: – Лена, подъем!

Они не спеша направились к двери.

Васнецов готов был снова вспылить. Его не могло не возмутить такое лениво-равнодушное отношение к делу и то, что девчонки эти пропустили мимо ушей требование вызвать врача. Но, всмотревшись в их исхудавшие лица с темными глазницами и заострившимися носами, он подавил в себе эту вспышку. Молча пошел следом за девушками на улицу.

Та, что разговаривала с ним, обошла машину, открыла дверцу и, втиснувшись в нее, приподняла привезенного человека за плечи. В тот же миг Лена, оказавшаяся у второй раскрытой дверцы, подхватила его ноги.

Васнецов крикнул водителю:

– А ну, давай помоги!

Вчетвером они перенесли этого человека в больничное помещение и уложили на кушетку, покрытую клеенкой. Распоряжавшаяся здесь девушка стащила с него варежки, приподняла рукав пальто и положила свои истонченные, просвечивающие от худобы пальцы на правое его запястье.

– Сколько, Катя? – осведомилась Лена через несколько секунд.

– Сорок восемь, – ответила та и стала оттягивать у недвижимого своего пациента нижние веки.

– Камфару? – спросила Лена.

– Лучше бы бутерброд с ветчиной, – мрачно пошутила Катя и будничным тоном обратилась к Васнецову: – Кто он?

– Не знаю, – развел руками Васнецов. – Мы подобрали его на тротуаре.

Катя просунула руку куда-то под пальто неизвестного, вытащила потертый кожаный бумажник, извлекла оттуда серую картонную карточку и, подойдя ближе к лампочке, прочла вслух:

- Завод «Севкабель». Ковалев Василий Павлович. Токарь.
- Что же с ним? – нетерпеливо спросил Васнецов.
- Голодный обморок, – последовал ответ. – Сегодня двадцатого отхаживаем...

Какое-то время Васнецов стоял неподвижно, потом махнул рукой и, ссутулившись, медленно пошел к двери. О том, что голодные обмороки становились в Ленинграде все более частым явлением, он хорошо знал. Но рухнувшего прямо на улице человека – от голода рухнувшего! – видел впервые.

- Оклемался? – спросил водитель, когда они опять тронулись в направлении Смольного.
- Что? – вздрогнул от неожиданности Васнецов.
- Жив, спрашиваю?
- Жив, – ответил Васнецов.
- Сердце, что ли, сдало?
- Сердце...

У самого уже Смольного их застал очередной артобстрел. Снаряды рвались где-то далеко, но метроном в невидимых репродукторах сразу же зачастил.

Водитель, притормозив, мигнул фарами, прикрытыми козырьками. Часовые распахнули ворота, и машина, обогнув слева главное здание Смольного, остановилась у бокового подъезда.

Васнецов быстро скрылся в этом подъезде, на ходу сняв шапку-ушанку и сбивая ею крупинки снега с воротника. Боец, охранявший вход, протянул было руку к дверце лифта, Васнецов остановил его жестом, поднялся на второй этаж по лестнице, прошел к себе в кабинет. Хотел спросить дежурного, на месте ли Жданов, но дежурный опередил его, доложив:

- Звонил Андрей Александрович. Два раза. Просил зайти, как только вернетесь.

Васнецов молча снял полушубок, повесил в шкаф, рядом с шинелью, зажег настольную лампу. Взглянул на часы – было без пятнадцати девять.

На столе лежала красная папка, полная бумаг, поступивших за день. Васнецов отодвинул ее в сторону: перед разговором со Ждановым хотелось сосредоточиться...

«Что я должен сказать ему? – спросил себя Васнецов. – Он же знает положение на переправе не хуже меня. Да, пожалуй, и не ждет от меня новостей...»

Это походило на самообман. Интуиция Жданова хорошо была известна Васнецову. Жданов наверняка понял, зачем он помчался к Невской Дубровке на другой же день после заседания Военного совета, и теперь, конечно, ожидает подробного доклада.

Бывают минуты, когда человеку даже такого масштаба, как Жданов, очень нужна психологическая поддержка. Что ж, Васнецов еще раз окажет ему такую поддержку и сделает это от чистого сердца, с твердой уверенностью в своей и его, Жданова, правоте...

Но вдруг, где-то в глубинах памяти, зазвучал голос Суровцева:

«А от тех, кто на „пяточке“, – можно требовать невозможного?!»

«Можно и нужно! – ответил мысленно Васнецов. – Только в этом спасение Ленинграда!»
И направился к Жданову.

Эти два человека знали и понимали друг друга и умели даже на расстоянии взаимно угадывать душевное состояние и читать потаенные мысли!

Жданов действительно с нетерпением ожидал возвращения Васнецова и очень нуждался в его поддержке. В течение дня у Жданова не раз появлялось желание снова объясниться с Хозиным. Он даже позвонил ему утром, намереваясь пригласить к себе, но услышал в ответ, что командующий выехал в район больницы Фореля для проверки хода фортификационных работ.

Звонить вторично Жданов не стал. Зачем? Разве Военный совет не принял вполне определенного решения?

Однако Жданов не мог не чувствовать, какая ответственность ложится на него за все последствия этого решения. Прорыв блокады был для Жданова, как и для сотен тысяч других ленинградцев, вопросом жизни и смерти. Если не физической, то политической. А возможно, той и другой.

От этого в конечном счете больше всего зависело и восстановление доверия к нему Сталина, которое – Жданов чувствовал это – сильно поколебалось, в особенности после неудачи октябрьской операции.

Если бы Жданов знал, что Сталин поддержит вчерашнее решение Военного совета, всем его сомнениям пришел бы конец. Но Сталин был далеко. А звонить ему по телефону, когда сам он не звонит, Жданову не хватало решимости.

...Перед вечером ему удалось выкроить время для посещения одного из детских домов. Такие дома для ребят, у которых родители погибли на фронте или оказались жертвами блокады, стали создаваться недавно. Около часа Жданов провел в помещении с давно остывшими батареями парового отопления, расспрашивая директора, пожилую измученную женщину, бывшего инструктора райкома, о том, как и чем кормят детей, как поставлено медицинское обслуживание и сколько потребуется железных печек, чтобы установить их во всех комнатах. Одновременно вглядывался в фигурки детей, неуклюжие из-за напаянных на них кофт, платков и неподходящих по размеру ватников. Из многочисленных одежек едва высывались наголо остриженные ребячьи головки, исхудавшие, землистого цвета лица с недетской печалью в глазах.

А тут еще совсем рядом стали рваться немецкие снаряды. Детей поспешно увели в убежище. Жданов же, вернувшись в Смольный, схватил телефонную трубку, вызвал командующего Балтфлотом Трибуца и попросил его нанести массированный удар из дальнобойных корабельных орудий по району Вороньей горы и другим пунктам, с которых немцы обстреливают Ленинград.

Он стоял посредине комнаты, сжав кулаки и тяжело, прерывисто дыша, когда балтийцы открыли огонь и в Смольном мелко задребезжали оконные стекла. В тот именно момент и появился Васнецов.

Жданов присел к столу, откинулся на спинку кресла и, стараясь скрыть нетерпение, негромко спросил:

– Ну... как?

– Разговаривал с Болотниковым и Бычевским, – сказал Васнецов, тоже опускаясь в кресло. – С переправой танков дело обстоит по-прежнему плохо.

– Надо будет провести дополнительную работу с понтонерами.

– Это мало что даст. С одним из них я беседовал.

– На самой переправе? – настороженно спросил Жданов.

– Нет, – несколько смутившись, ответил Васнецов. – Вылезать туда не было прямой необходимости. – Не мог же он сказать, что его не пустили. – Вопрос ясен и так: единственная паромная переправа пристреляна немцами. К тому же мало понтонов.

– Новое дело! – нахмурившись, воскликнул Жданов. – Это же смешно – ленинградские заводы не могут сделать понтонов!

– Сделать могут, Андрей Александрович, но не хватает электроэнергии для сварочных работ. Бычевский подсчитал: на это потребуется пять тысяч киловатт.

Названная цифра вернула Жданова к реальности.

– Это невозможно, – сказал он решительно, и перед ним возникли посиневшие от холода лица детей. – Вы сами знаете, что это невозможно.

– Да, конечно, – согласился Васнецов. – Но сейчас на Неве сложилась такая обстановка, что танки можно перебрасывать только по единственной еще не замерзшей полынье. И надо использовать эту возможность. Потом придется ждать, пока лед сможет выдержать тяжелый танк.

Жданов молчал.

– Если не возражаете, – продолжал Васнецов, – я все же свяжусь с Ленэнерго. Может быть, тысячи две-три киловатт они сумеют наскрести. Между прочим, – поспешно переключился он на другую тему, чтобы не дать возможности Жданову ответить отказом, – Лагунов грозитя урезать паек понтонерам до тыловых норм. Это неправильно! Люди работают в самом пекле. Я хочу переговорить с Лагуновым. – И снова, опасаясь, чтобы Жданов не успел наложить запрет, Васнецов быстро перешел на другую тему: – У Бычевского есть проект строить ложные переправы, чтобы отвлечь на них огонь противника. Потом, когда лед окрепнет, они смогут стать реальными. Переправы эти необычны, Бычевский называет их «тяжелыми», хочет вмораживать в лед тросы. С тросами, полагаю, задержки не будет, они есть у Балтфлота. Я сегодня же переговорю с Трибуцем...

И умолк.

Жданов догадывался, что Васнецов умышленно уходит от главного. Пристально глядя в глаза ему, спросил:

– Это все?

– В основном да, – неуверенно произнес Васнецов и отвел глаза в сторону, потому что умолчал о своей беседе с Суровцевым и, главное, об убежденности капитана в том, что лишь тройное или минимум двойное увеличение танков и орудий может обеспечить успешное продолжение наступательных операций на «пяточке».

Васнецов всегда был предельно искренним со Ждановым. После каждой поездки на завод, в воинскую часть, по возвращении с заседания того или иного партийного комитета, с собраний актива он никогда не ограничивался чисто формальным отчетом. Старался непременно передать Жданову не только существо, но и все оттенки услышанного и увиденного. Но сейчас этого не получалось.

Васнецов не решался рассказать Жданову о беседе с Суровцевым, потому что, передавая ее содержание, должен был бы сам занять какую-то определенную позицию. Но какую?..

И о том, что по дороге видел, как прямо на улице упал человек в голодном обмороке, Васнецов умолчал сознательно. Что мог прибавить или убавить этот факт к уже известному? Правда, случаи такого рода на ленинградских улицах еще редки. Однако в цехах, у станков, рабочие частенько теряют сознание – сказываются и напряженная, во многих случаях две смены подряд, работа, и нервное переутомление, и, конечно, длительное недоедание.

Жданов, видимо, интуитивно догадался, что Васнецов чего-то не договаривает и что эта недоговоренность имеет какое-то отношение, пусть косвенное, к тому главному, к чему были прикованы его мысли вот уже второй день.

– Сергей Афанасьевич, – сказал он наконец, – давайте попытаемся еще раз оценить общую ситуацию. Значит, так... Волхов нам удалось отстоять, но гарантий, что немцы не попробуют снова захватить его, у нас нет. Тихвин в руках врага. Несомненно, фон Лееб знает, каково ленинградцам. Может быть, проведаль даже о том, что мы вынуждены урезать паек войскам. Как бы в этих условиях поступили на его месте вы?

– Наверное, попытался бы снова штурмовать город, – ответил Васнецов.

– И я почти уверен в том же! – с ударением произнес Жданов. – Тем более что под Москвой немецкое наступление, похоже, провалилось и Гитлер может теперь вернуть фон Леебу те части, которые забрал у него. Какой же вывод следует отсюда? Позволительно ли для нас медлить с прорывом блокады и даже выводить из Ленинграда войска?

Еще сегодня утром Васнецов не задержался бы с ответом ни на секунду. Но сейчас он молчал, погрузившись в тяжкие раздумья.

«Допустим, что Бычевскому удастся его затея с ложными переправами, которые затем превратятся в действующие. Сколько танков в этом случае мы сумеем перебросить на плацдарм?

Работа на Кировском заводе, как и на других предприятиях, замирает из-за нехватки электроэнергии, топлива, а главное, из-за резкого снижения работоспособности страдающих от голода людей. Рассчитывать на быстрый ремонт поврежденных машин уже нельзя, а надеяться на поступление извне новых совсем невозможно. Для того чтобы удержать плацдарм, сил там достаточно, но для успешного наступления их надо больше, гораздо больше!»

Непроизвольно вырвались слова:

– Мы в тяжелом положении. Мы в очень тяжелом положении. Иногда я задаю себе вопрос: простят ли нам это ленинградцы?..

Жданов с недоумением посмотрел на Васнецова. Он не привык слышать от него такое.

– Это неправомерная постановка вопроса, товарищ Васнецов! – решительно произнес Жданов. – Кому это «нам»? Ленинградцы не отделяют себя от партии и от нас с вами.

– Андрей Александрович, – сказал Васнецов, никак не реагируя на его очевидное недовольство, – может быть, все же есть смысл снова посоветоваться с Козиным? В такое время нам нельзя позволить себе роскошь разногласий.

Жданов неопределенно пожал плечами, как бы нехотя протянул руку к столику, на котором стояли телефонные аппараты, снял трубку с одного из них, спросил:

– Товарищ Хозин вернулся?.. Передайте, что я прошу его зайти.

Потом, не глядя, взял из коробки папиросу и закурил. Густой клуб дыма на мгновение скрыл от Васнецова его лицо. Разговор переключился на частности.

– Я был сегодня в одном из детских домов, – сказал Жданов. – Отопление не работает. Ребята замерзают. Надо срочно наладить изготовление железных печек.

– А чем их топить? – тихо спросил Васнецов.

– Если в ближайшее время положение не изменится к лучшему, надо будет подумать о разборке деревянных домов на окраинах. Все равно многие из них сейчас пустуют.

– Это не выход, Андрей Александрович. Как только откроется Ладожская трасса, надо продолжить эвакуацию детей и постараться вывезти всех. Дети не выдержат голода.

– Мы не должны допустить, чтобы в городе начался голод!

– Он уже начался. И если...

Васнецов не договорил. Дверь в кабинет открылась, и на пороге появился Хозин.

– Здравствуйте, товарищ Хозин, – сказал Жданов. – Мне и товарищу Васнецову хотелось еще раз...

– Извините, Андрей Александрович, – прервал его взволнованно командующий. – Я только что получил чрезвычайно важные указания Ставки... – И подал Жданову плотное колечко телеграфной ленты.

Тот схватил колечко, склонился ближе к настольной лампе и, протягивая ленту между пальцами, прочел, что Ставка Верховного главнокомандования рассмотрела соображения, изложенные в письме командующего Ленинградским фронтом на имя начальника Генерального штаба, одобряет их и приказывает немедленно приступить к исполнению.

Кровь бросилась в лицо Жданову. Молча передав ленту Васнецову, он спросил командующего:

– О каких соображениях идет речь, товарищ Хозин?

– О тех, которые я докладывал вчера вам и Военному совету. Я счел своим долгом написать письмо в Генштаб и передал его с генералом Вороновым.

– А вы сообщили при этом, что мы против? – резко спросил Васнецов, кладя ленту на стол.

– Так точно.

Жданов промолчал...

2

Данвиц уже не раз проклинал себя за свой сентябрьский рапорт, в котором просил фон Лееба не отправлять его с войсками Хепнера на Центральный фронт, а оставить под Ленинградом.

Тогда, в сентябре, он был убежден, что падение Ленинграда – вопрос дней. Зачем же уступать кому-то честь ворваться в город первым или хотя бы одним из первых?

Да и кто мог опередить его? Полку Данвица удалось подойти к Ленинграду ближе всех остальных немецких частей. Он занимал боевые позиции в двух километрах от развалин больницы Фореля и в пяти от Кировского завода.

В создавшейся ситуации казалось совершенно неблагоприятным покидать группу армий «Север», чтобы бесследно затеряться в массе войск фон Бока, наступавших на Москву.

Кроме того, Даниилу глубоко запали в душу слова Гитлера о том, что Петербург является первой стратегической целью в войне против России. Правда, переброска отсюда некоторых соединений на Центральное направление, в то время как первая стратегическая цель еще не была достигнута и Петербург оставался в руках русских, представлялась Данвицу не вполне логичной. Но он никогда не оценивал поступки Гитлера с точки зрения логики. Ее раз и навсегда заменила вера. Он, Данвиц, был всего лишь человеком, а фюрер – божеством. И если Гитлер решил произвести некоторую перегруппировку войск, то, значит, для этого были какие-то веские причины, недоступные пониманию Данвица. Повлиять на исход боев за Петербург они не должны. Одни дивизии ушли, значит, придут другие, но Петербург, как и запланировано было, падет раньше Москвы. До сих пор все предначертания фюрера сбывались. Исполнится и это...

Когда у человека слепая вера заменяет рассудок, он оказывается не в состоянии правильно воспринимать и оценивать реальные факты. Так получилось и в данном случае. Данвиц не хотел считаться с тем, что в конце сентября, когда, по замыслу Гитлера, должна бы уже победоносно закончиться вся война с Россией, Москва и Ленинград продолжали оставаться советскими. Он просто отбрасывал это, всецело сосредоточившись на одном непреложном факте: его полк ближе всех подошел к Ленинграду, и как только последует приказ...

Но приказ о возобновлении наступления не поступал. Пока что солдаты Данвица окапывались, строили оборонительные укрепления. Две-три отчаянные попытки прорваться к больнице Фореля, предпринятые Данвицем с разрешения командира дивизии, были отбиты.

В полк часто наезжали офицеры из штаба дивизии. Однако вместо подготовки нового штурма города все эти майоры и оберсты занимались проверкой качества фортификационных работ. Данвиц сознавал, насколько важны эти работы, – русские по несколько раз в сутки обстреливали позиции полка, их разведчикам удалось похитить у него трех солдат. И все-таки Данвица раздражало такое очевидное переключение на оборону. Ему осточертела неподвижность.

Тучи комаров висели над окопами и траншеями. От них нельзя было укрыться ничем – ни железными касками, ни поднятыми воротниками шинелей. Потом пошли дожди. Болота и трясины, которыми изобиловала местность, чуть подсохшие в жаркие летние дни, теперь опять расхлябались. Вода заливала не только окопы и траншеи. Она хлюпала под деревянными настилами в землянках и блиндажах, проникала меж бревен наката и капала с потолка.

Одна утеха оставалась теперь у Данвица: вооружившись биноклем, он взбирался по узенькой лестнице на верхушку огромной сосны, где был оборудован для него похожий на птичью клетку наблюдательный пункт, и оттуда взирал на Ленинград.

Оптические стекла создавали иллюзию мгновенного перемещения на одну из улиц города, помогали Данвицу совершить прыжок, невозможный в реальности. Он видел фигурки

людей, движущиеся трамваи и автомашины, видел полукруглые крыши цехов гигантского завода.

Данвиц уже не первый месяц находился на советской земле. В дыму пожарищ, грохоте орудий прошел он по ней сотни километров. Врывался на танке, бронемашине, мотоцикле в русские села и города. Допрашивал там пленных, расстреливал и вешал непокорных. Из майора превратился в подполковника. Выучил несколько русских слов. Но не сумел, а вернее, не захотел постигнуть суть той жизни, какую жили эти села и города до того, как по ним проползли с лязгом гусеницы немецких танков. Данвиц никогда не бывал ни в Америке, ни в Англии, ни во Франции. Тем не менее тамошняя жизнь представлялась ему доступней для понимания.

В России же Данвиц чувствовал себя пришельцем с другой планеты в чужой, сплошь враждебный мир. Этот мир сопротивлялся, и потому его следовало уничтожить. Данвиц не задавал себе вопроса: чем вызвано столь яростное сопротивление? Не задумывался ни о причинах, ни о следствиях.

Слово «русские» для него было синонимом другого слова – «большевики». Любым из этих двух слов он определял и национальность, и веру, и происхождение всех советских людей. В них как бы аккумулировались все силы, вставшие на пути немецкой армии к Москве и Ленинграду.

Данвиц никогда не интересовался, что творилось в душах тех людей, в которых он стрелял, которых вешал или допрашивал, никогда не пытался проникнуть в их мысли. Он считал, что и разум и язык даны им только для того, чтобы отвечать на его, Данвица, вопросы.

Но, окопавшись под Ленинградом, он лишился удовольствия вешать и допрашивать. И как компенсацию за это ловил те минуты, когда расположенная где-то в тылу немецкая артиллерия начинала обстрел города. В такие минуты Данвиц непременно спешил к заветному дереву. Оттуда, сверху, из своей тщательно замаскированной в ветвях клетки, он вожаделенно наблюдал, как рвутся снаряды на заводской территории, на улицах, как рушатся дома, вздымая облака черной пыли. И только после того, как начинала отвечать русская дальнобойная морская артиллерия, нехотя спускался на землю, потому что оставаться наверху было уже небезопасно...

В добротной землянке Данвица, обшитой изнутри гладко выструганными досками и прикрытой сверху четырьмя накатами, толстых бревен, имелся радиоприемник. В дождливые осенние вечера, проверив, как охраняется его командный пункт и сбросив на руки ординарцу отяжелевшую шинель, Данвиц надолго усаживался у этого приемника и поворачивал ручку верньера.

Вначале на него обрушивался чужой, русский мир – что-то говорил и кричал, чего-то требовал, кого-то звал или проклинал. Во всяком случае, так казалось Данвицу. И он крутил и крутил ручку, как бы пробиваясь физически к голосу родной Германии.

Любил ли Данвиц свою страну? Да, но только извращенной, жестокой любовью. Он любил не реальную страну, с ее народом, культурой, древними городами, с ее реками и лугами, а Германию Гитлера и ее деформированное отражение в собственном сумеречном сознании. Она представлялась ему каждый раз иной. То в виде бескрайнего пространства, заполненного шеренгами синхронно марширующих солдат. То в виде гигантской живой свастики, щупальца которой все увеличиваются в размерах, покрывая новые и новые страны, города, моря, реки, поля. То, наконец, в виде уходящего высоко в небо готического собора, под мрачными сводами которого днем и ночью горят факелы.

Любил ли Данвиц кого-либо, кроме фюрера, чувство к которому правильнее было бы назвать не любовью, а мистическим поклонением? Да. Он любил своих солдат, но тоже по-своему, не как людей, а как живое оружие, с помощью которого можно и должно осуществлять волю фюрера.

И вот однажды, прорываясь сквозь звуки чужой страны, чужого народа к родной речи, к немецким военным сводкам, к бравурным маршам, Данвиц вдруг замер. Пальцы его застыли на круглой ребристой поверхности верньера. Ему послышался голос фюрера.

Боясь сдвинуть ручку хотя бы на полмиллиметра, Данвиц прильнул ухом к ворсистой ткани, прикрывающей динамик. Нет, он не ошибся. Это действительно говорил Гитлер. Захлебываясь от волнения, глотая окончания слов, фюрер сообщал Германии и всему миру, что в эти часы на Восточном фронте вновь происходят события исторического значения – началась последняя, решающая битва, которая приведет к захвату Москвы и полному уничтожению врага.

Данвиц знал, что фюрер способен с одинаковым накалом и одинаково громко разговаривать с единственным собеседником и обращаться к многотысячному собранию. Трудно было догадаться, находится ли он сейчас перед микрофоном в радиостудии или стоит на трибуне перед огромной толпой. Очень скоро, однако, динамик задребезжал от воплей восторга, неистового рева, топота ног, аплодисментов, и Данвиц понял, что на этот раз фюрер произносит речь с трибуны.

Так оно и было. Впервые после 22 июня Гитлер выступал в тот день в «Спортпаласе» перед десятками тысяч берлинцев.

Данвиц мысленно представил себе это огромное здание на Потсдаммерштрассе, в котором неоднократно слушал фюрера. В последний раз это было в день вступления в войну Англии. Данвиц находился тогда в свите фюрера и, чеканя шаг, шел за ним между шпалерами эсэсовцев. Толпа ревела «хайль», и Данвиц чувствовал, что еще минута – и по лицу его потекут слезы: столь сильно было его обожание фюрера.

Впрочем, и теперь, слушая Гитлера, он находился в состоянии, близком к молитвенному экстазу.

– Позади немецких войск, – кричал Гитлер, – уже лежит пространство в два раза больше, чем территория рейха, когда я пришел к власти, и в четыре раза большее, чем вся Англия... Я говорю об этом только сегодня, потому что именно сегодня я могу совершенно определенно сказать: наш враг разгромлен и никогда не поднимется вновь!..

В этот момент мощный взрыв потряс стены землянки. Из приемника донесся оглушительный треск, зеленый огонек погас, и все смолкло. Только шуршал песок, сыпавшийся с потолка.

В темноте Данвиц нащупал на столе фуражку и выскочил наружу. Мгновением раньше он не только мыслями, всем существом своим находился далеко отсюда, там, в Германии, не видел никого и ничего, кроме фюрера, не слышал ничего, кроме его вдохновенных слов. И вдруг снова оказался в чужом и враждебном мире, под сверлящими взглядами тысяч невидимых глаз, в которых затаилась угроза смерти.

Разрывы тяжелых снарядов слышались уже в отдалении. Но Данвицу было ясно, что позиции его полка подверглись очередному артиллерийскому налету русских. Он побежал в штабную землянку, расположенную в десятке метров, чтобы выслушать по телефону доклад командиров батальонов о потерях. На ходу приказал ординарцу немедленно исправить электропроводку в его землянке и позаботиться о восстановлении радиоприемника.

В эти минуты Данвица, в сущности, не интересовали ни потери в личном составе полка, ни количество разбитых снарядами блиндажей. Единственное желание владело им: успеть дослушать речь фюрера.

И все же он не успел. Вернувшись наконец в свою землянку и поспешно включив уже исправный приемник, он не услышал ничего, кроме чужих голосов, разнообразной музыки, шумов и тресков.

На другой день в газете, выпускаемой ротами пропаганды армий «Север», Данвиц увидел броские заголовки: «Прорыв центра Восточного фронта!», «Исход похода на восток решен!», «Последние боеспособные дивизии Советов принесены в жертву!».

А несколько позже последовало радиосообщение из Берлина. Голос диктора, в котором звенел металл, торжественно извещал мир, что танки генералов Хепнера и Гота соединились в Вязьме, сначала отрезав, а потом окружив пять русских армий, и что в то время, как он, диктор, произносит эти слова, войска фельдмаршала фон Бока приближаются к большевистской столице.

Весть эту венчали звуки «Хорста Весселя». Потом сообщение было повторено.

Данвиц сидел в оцепенении. В груди его бушевал вихрь противоречивых чувств. Радость при мысли об огромной победе немецкого оружия. Недоумение от сознания, что фюрер, видимо, изменил свое намерение и не Петербург, а Москва стала первой целью похода на восток. Наконец, понятная горечь, – ведь в сообщении упоминались войска Хепнера, в составе которых мог находиться и он, Данвиц, если бы не написал тот свой поспешный рапорт...

В последующие дни Данвиц проводил у радиоприемника все время, свободное от каждодневных фронтовых забот. Победные сводки главного командования вермахта следовали одна за другой. Перечислялись захваченные на пути к Москве населенные пункты. Снова, как и в июньские дни, звучали впечатляющие цифры пройденных километров.

Так продолжалось много дней подряд: сводки, цифры, названия населенных пунктов. Победа, еще одна победа! Русские в плену, русские в окружении...

И вдруг все смолкло. Москва перестала упоминаться в радиосообщениях главного командования вермахта. Зато появились какие-то неизвестные населенные пункты – Будогощь, Вишера, Тихвин, Волхов, за овладение которыми, судя по сводкам, вела бои группа армий «Север».

Это происходило где-то за кольцом блокады, восточное или юго-восточнее Петербурга и, насколько Данвиц мог понять, непосредственного отношения к захвату самого города не имело. В штабе дивизии ему разъяснили, что операция, о которой сообщают берлинские сводки, ставит своей целью создание вокруг Петербурга второго блокадного кольца.

«Сколько она еще может длиться, эта блокада? – недоумевал Данвиц. – Месяц? Три месяца? Полгода?.. Похоже, придется зимовать здесь, в этих снегах и незамерзающих болотах. Коченеть от холода, когда Петербург рядом, когда уже видно движение на его улицах! Не проще ли, пользуясь тем, что наступление на Москву опять застопорилось, перебросить сюда две-три танковые дивизии и ворваться в город, уже истощенный полуторамесячной блокадой?..»

И чем больше думал об этом Данвиц, тем сильнее им овладевало подозрение, что армейские генералы, к которым он, подобно другим членам нацистской партии, всегда испытывал глухую неприязнь, дезориентируют фюрера, что фон Лееб боится взять на себя ответственность за новый штурм Петербурга.

Поднимаясь на свой наблюдательный пункт, Данвиц испытывал теперь жгучее желание, чтобы фюрер хотя бы на одно мгновение оказался здесь и собственными глазами увидел, сколь близко от Петербурга стоят преданные ему войска – достаточно одного сильного рывка, и город будет захвачен.

Неожиданно созрело решение написать Гитлеру письмо.

По обычным немецким военным стандартам это было неслыханно: ординарный командир полка, к тому же лишь недавно произведенный в подполковники, позволяет себе, минуя своих непосредственных начальников, обратиться лично к главе государства! Но для Данвица Гитлер был не просто главой государства и главнокомандующим. Он был для него прежде всего фюрером, вождем, безраздельным властелином его души.

Кто может упрекнуть смертного за то, что тот в молитвах своих обращается непосредственно к богу?!

Данвиц обращался к Гитлеру как солдат, сражающийся в передовых частях с первых же дней войны и на собственной шкуре испытавший все тяготы Восточного похода. Он умолял фюрера верить прежде всего таким, как он, «чернорабочим войны», которые с юных лет состоят в национал-социалистской партии, а не стареющим генералам бывшего рейхсвера, и заверял его в готовности немецких солдат и офицеров свершить любой подвиг во имя своего фюрера. Данвиц докладывал, что одной своей ногой он фактически уже стоит на петербургской улице и нужно не такое уж чрезмерное усилие, чтобы опустить на ту же улицу и вторую ногу. Заклинал фюрера вернуть на петербургское направление хотя бы часть войск, отправленных на Центральный фронт, где, судя по сводкам, наступление сейчас приостановлено...

В своем письме Данвиц отдавал должное плану фюрера – задушить Петербург голодом. Называл и действительно считал этот план весьма гуманным, поскольку, осуществляя его, почти не приходится рисковать жизнью немецких солдат. Однако, как утверждал Данвиц, каждый немецкий солдат почтет за честь умереть со славой, нежели признаться в своем бессилии выполнить великие предназначения фюрера.

И еще одна важная мысль содержалась в письме: большевики – это особая порода людей, они могут голодать бесконечно и все-таки не сдадутся.

«Мой полк, – писал Данвиц, – находится в четырех – только четырех! – километрах от крупнейшего петербургского завода, производящего танки. Трудно подсчитать количество немецких снарядов, выпущенных по заводской территории. Тем не менее стоит мне только подняться на мой наблюдательный пункт, стоит поднести к глазам бинокль, и я вижу, как дымят трубы этого завода...»

А заканчивалось послание так:

«Я помню слова моего фюрера о том, что Петербург является в этой войне целью номер один. Я запомнил их на всю жизнь и готов пустить себе пулю в лоб из-за того, что эта цель не достигнута, хотя сейчас достаточно протянуть железную немецкую руку, ударить бронированным кулаком, и проклятый город станет вашим...»

Несколько дней Данвиц ждал подходящего случая, чтобы отправить письмо в ставку Гитлера. Воспользоваться для этого обычными каналами было опасно: письмо могло затеряться в канцелярских дебрях или, что еще хуже, попасть в руки непосредственных начальников Данвица, которые легко усмотрят между строк упрек в их адрес.

И наконец случай представился. В штабе дивизии Данвиц встретился с оберштурмбанфюрером СС, офицером гестапо Дитмаром Грюнвальдом, который приехал на фронт проверить выполнение приказа о действиях против советских партизан. Данвиц близко соприкасался с Грюнвальдом в Берлине и хорошо был осведомлен о его «антигенеральских» настроениях, характерных для большинства чинов гестапо.

Оберштурмбанфюрер охотно согласился взять письмо и обещал сделать все возможное в его положении, чтобы оно достигло ставки Гитлера. Медленно потянулись дни трепетного ожидания результатов...

Седьмого ноября Данвиц получил приказ: передать командование полком своему заместителю, а самому вылететь в Псков и явиться лично к фельдмаршалу фон Леебу.

Что мог означать этот вызов? Неужто Грюнвальд подвел – вскрыл конверт, прочитал письмо и, расценив его как наглую попытку поучать фюрера, передал плод долгих размышлений Данвица в собственные руки фон Лееба?

Это было маловероятно. При неблагоприятном истолковании содержания письма Грюнвальд, скорее всего, отдал бы его прямому начальству из дома на Принцальбрехтштрассе: гестапо не часто вмешивает в свои дела армейцев.

А может быть, достигнув ставки, письмо не двинулось дальше личного штаба фюрера? Попало к Йодлю, и тот распорядился переадресовать его фон Леебу? Это означало бы, что на Данвице, как бывшем адъютанте фюрера, поставлен крест. Да, в сущности, он и не был

адъютантом. Подлинные адъютанты Гитлера – это Шмундт, Брюкнер, Шауб. А он, Данвиц, фактически исполнял роль порученца, как бы там ни называлась его должность.

Существовал и еще один вариант, самый убийственный для Данвица: фюрер прочел письмо, возмутился, что кто-то осмеливается поучать его, и приказал фон Леебу вразумить зазнайку...

Однако все эти мрачные предположения стали постепенно рассеиваться уже в штабе дивизии, куда Данвиц явился за командировочным предписанием. По той любезности, какую проявил к нему сам командир дивизии – человек обычно желчный и придирчивый, – можно было заключить, что письмо «сработало» в пользу Данвица. Неспроста ему, подполковнику, был подан личный «хорьх» генерала, чтобы доставить на полевой аэродром...

...Полет до Пскова занял немногим больше часа. Спустившись по трапу, Данвиц и здесь сразу же ощутил повышенное внимание к его скромной персоне. Он был встречен с иголки одетым, вылощенным капитаном, доложившим, что «господина оберст-лейтенанта ожидает машина».

После месяцев, проведенных в боях, в пыли и грязи, в одуряющем смраде сгоревшей взрывчатки, дизельного топлива и паров бензина, после жары, сменившейся проливными дождями, а затем холодом, пронизывающим до костей холодом, потому что обещанное зимнее обмундирование так и не пришло ни в полк, ни в дивизию, Данвицу было как-то не по себе в тихом тыловом городе, непривычно видеть тщательно очищенные от снега тротуары и спокойно вышагивающих по ним офицеров в добротных шинелях с меховыми воротниками и фуражках, под околышами которых темнели теплые подушечки, прикрывающие уши.

Им овладело двойственное чувство. С одной стороны, это было приятное ощущение покоя, твердой уверенности, что ни сейчас, ни минутой позже не начнется очередной артиллерийский обстрел и не надо будет, пригнувшись, пробираться по узким ходам сообщения в батальоны и роты; ощущение пусть временного, но все же избавления от неистовых ветров, продувающих истерзанный войною лес, и от нестерпимой духоты жарко натопленных землянок; наконец, ощущение близкой возможности впервые за долгие месяцы как следует вымыться и переодеться в чистое белье. А с другой стороны, ко всем этим приятно расслабляющим ощущениям неосознанно примешивалась смутная злоба против людей, для которых все тяготы войны сводились только к нечастым бомбежкам, переживаемым в надежных, хорошо оборудованных убежищах.

И чем стремительнее черный «мерседес-бенц», в котором находился Данвиц, приближался к резиденции фон Лееба, тем больше росла в душе Данвица неприязнь ко всему здешнему.

– Куда мы едем? – угрюмо спросил он сидящего впереди капитана.

Голова капитана, как на шарнирах, быстро повернулась почти на сто восемьдесят градусов.

– Господин генерал-фельдмаршал изъявил желание видеть господина оберст-лейтенанта немедленно по прибытии. Но, может быть, господин оберст-лейтенант желает заехать сначала в гостиницу?..

Казалось, капитану доставляет неизъяснимое удовольствие произносить военные звания и так вот округлять фразы. А Данвица почему-то раздражало это. Впрочем, не без причины. В ответе капитана он уловил намек на свой непрезентабельный вид – потертую шинель, несколько примятую тулью фуражки и давно потерявшие блеск сапоги.

– Везите прямо к фельдмаршалу, – приказал Данвиц.

– Яволь, господин оберст-лейтенант! – выпалил капитан, и голова его снова сделала полуоборот, но теперь в обратную сторону. Перед глазами Данвица опять замаячили свежестриженный затылок, серебряное шитье погон.

Вскоре машина остановилась возле трехэтажного дома на берегу неширокой речки. У подъезда стояли двое часовых.

Капитан выскочил из машины первым и открыл заднюю дверцу. Часовые вытянулись.

– Второй этаж, налево, – громко сказал капитан ступившему на тротуар Данвицу. И когда тот протянул было руку за своим небольшим чемоданом, оставшимся на заднем сиденье, добавил, понизив голос: – С разрешения господина оберст-лейтенанта, я доставлю вещи в гостиницу. Это всего полтора квартала отсюда. Номер для вас уже приготовлен.

– Спасибо! – бросил в ответ Данвиц и направился к знакомому подъезду.

Сдав шинель на попечение солдата, дежурившего в гардеробе на первом этаже, и поднимаясь по лестнице на второй, Данвиц мимоходом глянул в стенное зеркало. Вид у него был и впрямь неважный. Брился он в шесть утра, а теперь на его исхудавшем лице явственно проступала щетина. Китель был помят.

Конечно, ему следовало бы заехать в гостиницу и привести себя в порядок. Но Данвиц с каким-то болезненным удовольствием отбросил эту мысль, подумав: «Принимайте нас такими, какие мы есть».

За два месяца, истекшие с тех пор, как он был здесь в первый раз, многое переменялось. Тогда он поднимался по этой вот лестнице, укрытой ковровой дорожкой, к всесильному фельдмаршалу великой Германии. А сегодня ему предстояло увидеть неудачливого стареющего человека, не сумевшего выполнить заветное желание фюрера.

Тогда, два месяца назад, Данвиц с неподдельным почтением внимал полководцу, награжденному рыцарским крестом за боевые успехи на Западном фронте. Сегодня же помнилось только, что этот человек так и не вступил в национал-социалистскую партию.

Тогда, в сентябре, перед фельдмаршалом предстал майор, готовый по его приказу отдать свою жизнь. А сегодня к дряхлеющему представителю старогерманской военной касты явится молодой подполковник, подозревающий его в недостаточной преданности фюреру.

В приемной фон Лееба, слева от двери, обитой черной кожей, сидел, углубившись в чтение каких-то бумаг, другой подполковник – чистенький, опрятненький, с моноклем в правом глазу. Когда появился Данвиц, он лишь на мгновение оторвался от своих бумаг и, убедившись, что посетитель не старше его чином, снова наклонил голову. Это взбесило Данвица. «Ничтожество, тыловая крыса! – мысленно воскликнул он. – Когда я состоял при фюрере, ты держался бы передо мной как натянутая струна!..»

Он подошел к столу почти вплотную и, низко выкинув вперед руку над самой головой сидящего, будто намереваясь ударить его, оглушительно крикнул сиплым, простуженным голосом:

– Хайль Гитлер!

Подполковник недоуменно взглянул на Данвица и вяло приподнял правую руку с откинутой назад холеной кистью. Таким жестом обычно сам фюрер отвечал на обращенные к нему восторженные приветствия.

Не скрывая своей злости, Данвиц стал чеканить слова:

– Доложите генерал-фельдмаршалу, что...

Подполковник, не поднимая головы, оборвал его:

– Фельдмаршал занят.

– Вы пойдете и доложите ему, что прибыл Арним Данвиц! – сказал странный посетитель, подражая тому специфическому угрожающему и вместе с тем вежливому тону, каким обычно обращались офицеры гестапо к людям других служб и ведомств, независимо от ранга.

Данвиц рисковал получить строгое замечание. По уставу ему следовало сказать: «Оберст-лейтенант Данвиц явился по приказу генерал-фельдмаршала». И щелкнуть при этом каблуками. Однако то ли тон Данвица, то ли сам факт столь категоричного требования подействовал на сидевшего за столом, – он встал. И в тот же момент в приемную вошел какой-то полковник.

– Вы свободны, Вебер! – сказал он подполковнику, по-хозяйски усаживаясь за стол. Вебер, однако, продолжал стоять, молча рассматривая Данвица.

– Что здесь происходит? – возмутился полковник.

Данвиц сделал полуоборот в его сторону и, все еще кипя от возмущения, но по возможности сдерживая себя, произнес:

– Я получил приказ явиться к фельдмаршалу.

– Вы кто такой? – так же строго спросил полковник.

– Оберст-лейтенант Данвиц.

Лицо полковника тотчас же разительно переменялось. Он широко, даже как-то искательно улыбнулся, вышел из-за стола, приговаривая:

– Конечно, конечно, оберст-лейтенант! Сейчас доложу. Я был предупрежден, но выходил на минуту...

Он быстро исчез за обитой черной кожей дверью, оставив ее полуоткрытой. А спустя мгновение появился снова и уже без улыбки, торжественно объявил:

– Генерал-фельдмаршал просит вас!

На этом бунт Данвица кончился.

Он вдруг ощутил робость. Что бы там ни произошло, а фон Лееб оставался еще командующим одной из трех основных группировок немецких войск на Восточном фронте, повелителем сотен тысяч солдат и офицеров. Слепое чинопочитание, вошедшее в плоть и кровь Данвица, мгновенно лишило его всякого апломба. Преувеличенно громко печатая шаг по новому, до блеска натертому паркету, он подошел к раскрытой двери и перешагнул порог...

Первым, кого увидел Данвиц в кабинете фон Лееба, был фюрер. Нет, разумеется, не в натуре, а на огромном портрете, занимавшем весь простенок над большим письменным столом.

Гитлер был снят анфас, в кителе с широкими лацканами, в белой сорочке с темным галстуком. На левой стороне кителя отчетливо выделялся круглый партийный значок со свастикой в центре, ниже красовался железный крест. На голове фюрера была фуражка с огромной тульей. Над широким козырьком ее шитый серебром орел вцепился когтями в свастику.

Руки фюрер скрестил на груди, а суровый, требовательный взгляд его, как показалось Данвицу, был обращен прямо на него.

Несколько мгновений Данвиц, точно загипнотизированный, смотрел на портрет Гитлера и только потом увидел сидящего за столом фон Лееба. Кроме фельдмаршала, в кабинете находился еще какой-то незнакомый Данвицу генерал. Оба они – и фон Лееб и этот генерал – выжидающе смотрели на Данвица.

Сбрасывая с себя оцепенение, он щелкнул каблуками своих невзрачных сапог, вытянул руку скорее по направлению к портрету, чем к сидящему за столом фон Леебу, и сдавленным от волнения голосом прохрипел:

– Хайль Гитлер!

Затем сделал пять больших, неслышных шагов – пол кабинета был покрыт толстым ворсистым ковром, – остановился посредине комнаты и доложил:

– Господин генерал-фельдмаршал! Оберст-лейтенант Данвиц прибыл по вашему приказанию!

Фон Лееб встал и вышел из-за стола. Генерал, располагавшийся в глубоком кожаном кресле по другую сторону стола, тоже встал.

«Сейчас, сейчас, сейчас я узнаю, зачем меня вызвали!» – сверлила мозг Данвица неотступная мысль.

И хотя ничто другое не интересовало его в эти минуты, он почти подсознательно отметил, что фельдмаршал действительно сильно переменялся.

Фон Лееб и при первой их встрече выглядел далеко не молодо. Но в те дни, не такие уж далекие, фельдмаршал держался браво, со снисходительной надменностью, всем своим видом демонстрируя власть и превосходство над окружающими.

Сейчас он выглядел еще более постаревшим. Монокль на черном шелковом шнурке глубоко утонул в складках дряблой кожи. Да и сами глаза у фельдмаршала показались Данвицу какими-то потухшими. Даже погоны фон Лееба с двумя перекрещивающимися маршальскими жезлами вроде бы поблекли.

– Я вызвал вас, Данвиц, – с оттенком торжественности произнес он, – чтобы передать приказ о срочной командировке в ставку.

«Фюрер получил и прочел мое письмо! – обрадовался Данвиц. – Он хочет видеть меня! Хочет выслушать мнение преданного ему солдата, ближе всех подошедшего к Петербургу!»

И, не имея сил сдержать охватившее его волнение, он сделал шаг вперед к остановившемуся в отдалении фельдмаршалу, совсем не по-военному воскликнул:

– Меня вызывает фюрер, да?!

– Телеграмма подписана Шмундтом, – уклончиво ответил фон Лееб.

То, что вызов подписал главный адъютант Гитлера, было воспринято Данвицем как доброе предзнаменование. Но в многозначительном этом факте не содержалось все-таки окончательного ответа на вопрос, который больше всего волновал Данвица: намерен ли встретиться с ним сам Гитлер? Поэтому он снова обратился к фон Леебу:

– Осмелюсь спросить, известно ли господину фельдмаршалу, зачем меня вызывают?

– Этого я не знаю, – слегка развел руками фон Лееб, – тем не менее рад, что один из моих офицеров побывает в ставке... И мне хотелось бы, – добавил он после короткой паузы, – чтобы вы доложили там о лишениях, которые перенесли наши войска, и о том героизме, какой они проявили и проявляют изо дня в день. До сих пор мы огорчали фюрера неудачами. Но сегодня можем порадовать его... – Фон Лееб опять сделал паузу и, сияя улыбкой, сообщил: – Сегодня ночью взят Тихвин! Приказ фюрера выполнен.

Произнеся эти слова, фон Лееб, казалось, сразу помолодел. Он гордо вскинул голову. В глазах появился прежний блеск.

«Взят Тихвин! – мысленно повторил за ним Данвиц. – О, если бы это был Петербург!..»

Фон Лееб, очевидно, почувствовал, что его сообщение не произвело на Данвица должного впечатления, и, недовольно передернув плечами, продолжал:

– Разумеется, в ставке уже знают о взятии Тихвина, мы доложили об этом. Но вы будете первым офицером с нашего фронта, который сможет подтвердить это лично. – Фельдмаршал усмехнулся и добавил: – По старым военным традициям, первый гонец с поля брани, принесший весть о победе, удостоивается награды.

Данвиц промолчал. Он думал о своем. Было очевидно, что о его письме фюреру здесь никто ничего не знает и никаких дополнительных разъяснений относительно вызова в ставку он не получит. А все другое не столь уж важно. И напрасно фон Лееб делает вид, будто оказывает честь Данвицу, поручая ему лично известить ставку о взятии Тихвина. Для Данвица ясно, что фельдмаршал стремится лишь к тому, чтобы преподнести эту победу с максимальной выгодой для себя.

И тут он услышал голос молчавшего до сих пор генерала:

– Боюсь, что оберст-лейтенант не полностью отдает себе отчет в значении взятия Тихвина. Его полк ведет бои слишком далеко от того места.

– Мой полк стоит фактически в пределах Петербурга, господин генерал! – не тая своей обиды, напомнил Данвиц.

– Не будем преувеличивать, – желчно усмехнулся генерал. – Ваш полк стоит в двух километрах от окраины Петербурга, точнее – от больницы Фореля. Так? – И, не ожидая ответа, задал новый вопрос: – Кстати, вам неизвестно, кто такой этот Форель?

Данвиц был застигнут врасплох. Все, что относилось к «той земле», к «тем людям», было для него загадкой, которую он никогда не старался разгадать. Больница Фореля представлялась ему всего лишь условным топографическим знаком на карте и грудами битого кирпича на местности.

– О Фореле мне ничего не известно, господин генерал, – несколько растерянно ответил Данвиц. – Смею полагать, что этот Форель был владельцем больницы.

Фельдмаршал и генерал насмешливо переглянулись.

– Оберст-лейтенант – смелый, боевой офицер, – великодушно заметил фон Лееб, обращаясь как бы одновременно и к Данвицу и к генералу. – Но он, к сожалению, плохо еще знает Россию. В этой стране давно нет владельцев, здесь ничто и никому не принадлежит.

– Если верить большевистской доктрине, господин фельдмаршал, в этой стране все принадлежит... так сказать, народу! – иронически уточнил генерал.

– Наш начальник штаба – знаток большевистских доктрин, – поощрительно улыбнулся фон Лееб, и Данвиц понял, что перед ним генерал-лейтенант Бреннеке.

Фамилию начальника штаба группы армий «Север» он, конечно, слышал не раз, однако встречаться с ним не приходилось. Поэтому, как только фон Лееб произнес слова «начальник штаба», Данвиц сделал полуоборот в сторону генерала и попытался щелкнуть каблуками, что было довольно затруднительно на толстом, ворсистом ковре.

– Подойдите к карте, оберст-лейтенант, – сказал Бреннеке. – Хочу, чтобы вы вполне уяснили себе смысл захвата нами Тихвина.

Сам он тоже подошел к стене, прикрытой бархатными шторами, и потянул за толстый витой шнур. Шторы медленно раздвинулись, открывая огромную карту Северо-Восточного фронта немецкой армии.

– Вот Тихвин! – сказал Бреннеке, упирая указательный палец в черный кружок восточное Ленинграда. – Захват этого небольшого, в сущности, города обрекает Петербург на страшный голод. До сих пор весь поток продовольственных грузов из глубины страны шел туда через тихвинский железнодорожный узел. Но это еще не все. Части нашего первого армейского корпуса под командованием генерала Шмидта сейчас успешно продвигаются на север по обе стороны реки Волхов. Вот здесь, – Бреннеке провел пальцем снизу вверх по извилистой голубой линии. – И если нам удастся захватить город Волхов – а я в этом не сомневаюсь, – то Петербург упадет к нашим ногам, как спелое яблоко. По данным разведки, и сами русские уже не рассчитывают удержать Волхов. Иначе зачем бы они минировали там главный промышленный объект – электростанцию?

– Эту станцию большевики считают чем-то вроде национальной святыни, – вмешался фон Лееб. – Говорят, что ее освятил сам Ленин.

– Простите, господин фельдмаршал, – внешне почтительно и вместе с тем тоном скрытого превосходства сказал Бреннеке, – священники исчезли у русских почти так же давно, как и владельцы больниц. Ленин же и вовсе не был священником. С вашего разрешения, я внесу поправку: Волховская электростанция строилась по приказанию Ленина.

– Я же говорил, что начальник штаба у нас отменный знаток большевистской России, – дребезжащим смешком отозвался на это фон Лееб, и его монокль выскочил из глазницы.

Водворив непослушное стеклышко на прежнее место, фельдмаршал подошел к карте и продолжил назидательную беседу с Данвицем:

– Самое главное вот в чем. Захват Тихвина предопределяет выход войск генерала Шмидта к Свири, на соединение с финнами. А взятие города Волхова будет означать прорыв вот сюда, к юго-восточному побережью Ладоги. – Фон Лееб вытянул палец и длинным, заостренным ногтем прочертил на карте глубокую бороздку. – До сих пор, – продолжал он, опустив руку, – у русских остается незащищенным правый фланг их пятьдесят четвертой армии. Перегруппировать сюда какие-то части из Петербурга они, конечно, не рискнут. Таким образом, у

нас есть реальная возможность отрезать эту армию и выйти к Ладожскому озеру. Это – дело ближайших дней...

Данвиц сосредоточенно глядел на карту. Он не пропустил ни одной важной детали из того, что говорили сначала Бреннеке, а потом фон Лееб. Но не Тихвин, не Волхов, не Ладога приковывали к себе его взгляд. По этой очень наглядной карте Данвиц пытался еще раз проследить весь тот путь, те сотни километров, которые прошел он от границ Восточной Пруссии до Петербурга. Длинный, мучительный, кровавый путь!..

Устремленный на карту взор его скользил по уже занятой войсками Гитлера Прибалтике, по огромному пространству, лежащему к югу от Петербурга, – тысячи квадратных километров! – и Данвиц с содроганием душевным думал, что, несмотря на это, проклятое большевистское государство продолжало существовать. За прочерченной на карте, похожей на гигантского удава границей германо-советского фронта простирались новые необъятные пространства, во много раз превосходившие то, что уже принадлежало великой Германии. Там, казалось сейчас Данвицу, стеной стоят непроходимые леса, лежат непролазные снега и болота, которые нельзя было преодолеть, даже заполнив их десятками миллионов трупов.

Очнувшись от этого наваждения, Данвиц обнаружил, что фон Лееб и Бреннеке уже умолкли и несколько недоуменно смотрят на него. Он повернулся спиной к карте и, обращаясь к фон Леебу, спросил:

– Когда прикажете отбыть?

– Завтра, – сказал фон Лееб. – Завтра утром в Растенбург летит генерал Бреннеке. Он захватит вас с собой. А сегодня... – фон Лееб поднял левую бровь, подхватил рукой снова выпавший монокль, игриво покрутил его на тонком черном шнурке, – сегодня вам следует отдохнуть. Генерал Бреннеке приглашает вас вечером в наше казино. Офицеры штаба хотят отпраздновать взятие Тихвина.

Для Данвица было немалым удовольствием войти в предоставленный ему номер на втором этаже офицерской гостиницы, а точнее сказать – в опрятную комнатку старинного особняка на тихой псковской удочке, по соседству с резиденцией фон Лееба.

Прикомандированный к Данвицу на время его пребывания здесь ефрейтор внес следом за ним большой фаянсовый кувшин с горячей водой и опустил свою ношу на пол, в углу, рядом с табуреткой, на которой красовался белый эмалированный таз. Чемодан Данвица находился тут же в номере.

Давно отвыкший от элементарного комфорта, Данвиц с некоторым удивлением рассматривал раздвинутые плюшевые шторы на окнах, светло-голубые обои на стенах, овальное зеркало и литографии с зимними и летними пейзажами милой его сердцу Германии, покрытый цветным линолеумом пол и этот фаянсовый кувшин, над которым поднималось легкое облачко пара. Особенно же приятное впечатление произвела на него стоящая справа, у стены, кровать, великолепная высокая кровать, покрытая голубым покрывалом, под которым угадывались перины. Сверху, на покрывале, лежало аккуратно разложенное нижнее белье. Оно не шло ни в какое сравнение с теми двумя сменами белья, что находились в чемодане Данвица. Это было так называемое «егерское» белье – тонкое, шелковистое, теплое и легкое...

Все, что раздражало и даже мучило Данвица в последнее время, – его сомнения, его нетерпеливые надежды, перемежающиеся страхом, – все ушло на задний план перед обступившей его со всех сторон роскошью тылового бытия. Просто не верилось, что это явь, а не сон.

С тех пор как Данвиц сел в транспортный самолет, набитый ехавшими в отпуск офицерами, их чемоданами и тюками, ящиками из-под снарядов и канистрами, прошло не менее трех часов. А он все не мог привыкнуть к мысли, что фронт уже далеко, что сюда не долетит ни один шальной снаряд, что его не подкарауливают русские снайперы и он спокойно может улечься

не на жесткие нары, а на эту вот уютную постель, утонуть в перине, укрыться другой, легкой, гагачьего пуха периной и не прислушиваться сквозь дрему ни к каким посторонним звукам.

Данвиц сладко потянулся, заламывая за спину руки, обернулся и увидел, что прислуживающий ему ефрейтор стоит в двух шагах от полуоткрытой двери. Стоит вытянувшись, как на строевом смотре: каблуки зеркально начищенных сапог – вместе, носки – врозь, руки чуть согнуты в локтях, ладони прижаты к бедрам. Розовощекий, с выпирающим слегка животом и улыбкой готовности на широком лице, он хорошо вписывался во всю эту милую обстановку покоя и уюта.

– Как зовут вас, ефрейтор? – спросил Данвиц.

Тот мгновенно поднялся на цыпочки, лихо щелкнул каблуками и выпалил:

– Ефрейтор Отто Кирш, господин оберст-лейтенант! – И добавил привычно: – К вашим услугам!

– Спасибо, ефрейтор, – добродушно кивнул Данвиц. – Можете идти.

– Разрешите узнать ваш размер, господин оберст-лейтенант! – слегка наклоняясь вперед, просительно произнес Кирш. И, встретив недоуменный взгляд Данвица, пояснил: – Размер мундира и сапог.

– Пятьдесят три и сорок два, – машинально ответил Данвиц, но тут же спросил: – А... зачем вам?

– Приказ, господин оберст-лейтенант! – уже с оттенком фамильярности в голосе ответил Кирш. – В цейхгаузе все подготовлено. Но, к сожалению, там не знают вашего размера. Разрешите идти?

– Идите, Кирш, – усмехнулся Данвиц. – Благодарю за службу.

Ефрейтор снова щелкнул каблуками и вышел, осторожно прикрыв за собою дверь.

Данвиц остался один. Ему не терпелось физически ощутить мягкость постели. Он бережно сдвинул в сторону чистое белье, присел на прикрытые покрывалом перины и зажмурился от удовольствия. Как, собственно, мало нужно солдату, чтобы он почувствовал себя в раю!

Открыв глаза, Данвиц невзначай увидел себя в большом овальном зеркале, висевшем на противоположной стене. И тотчас вскочил. Было истинным святотатством сидеть на такой постели в его ужасном кителе, столько раз мокшем под дождями, тершемся о глинистые стенки траншей и ходов сообщения, пропахшем горелым соляровым маслом и бензином... Данвиц провел ладонью по смятой постели, стараясь придать перинам первоначальную форму, и, пересев на стул возле маленького письменного стола, начал медленно стягивать сапоги.

Послышался легкий, вкрадчивый стук в дверь. Данвиц крикнул:

– Входите!

На пороге появился все тот же упитанный, розовощекий Кирш. На полусогнутой, слегка откинутой левой руке он нес новенькие, аккуратно отглаженные китель и брюки, в правой держал за ушки пару до блеска начищенных сапог.

– Все в порядке! – произнес ефрейтор таким тоном, точно доставить Данвицу новое обмундирование было для него несказанным счастьем. – Точно ваш размер, господин оберст-лейтенант! Впрочем, если потребуются небольшие переделки, портной здесь.

– Спасибо, Кирш! Вы свободны!

Он уже стянул с ног сапоги и носки, прошелся босиком по гладкому, теплему полу, стал расстегивать китель. А ефрейтор все стоял не двигаясь.

– Вы свободны! – повторил Данвиц.

– А как же портной, господин оберст-лейтенант? – жалобно и даже с некоторой обидой в голосе спросил Кирш.

– Полагаю, что он не понадобится. Впрочем, зайдите минут через пятнадцать, я хочу пока умыться.

Кириш кинулся к табуретке, на которой стоял эмалированный таз, услужливо поднял фаянсовый кувшин.

– Разрешите?..

Данвиц снял китель, бросил его на стул, скинул нижнюю рубашку, взял из поданной Киришем мыльницы кусок душистого мыла, склонился над тазом и опять зажмурился от удовольствия. На спину его полилась струя теплой воды...

Данвиц проспал не менее трех часов. Когда проснулся, за окном были уже сумерки. Посмотрел на часы. Минут через тридцать можно было отправляться в казино.

Он встал, аккуратно сдвинул тяжелые шторы на окнах, зажег свет. Потом облачился в новое обмундирование – китель, брюки и сапоги пришлось впору. Снял со старого кителя железный крест, подошел к зеркалу и приколот орденом, как и полагалось, на левой стороне груди, выше накладного кармана.

Сделав два шага назад, тщательно оглядел себя с ног до головы. Давно у него не было случая видеть самого себя во весь рост, и теперь он не без удовольствия разглядывал свою стройную, широкоплечую фигуру.

Да, за эти месяцы он несколько похудел, спал с лица, в талии утончился. Что ж, «осиная» талия в сочетании с широкими плечами считается одним из признаков хорошей арийской породы...

Данвиц еще раз взглянул на часы. Через десять минут надо выходить.

...Казино располагалось в двух кварталах от гостиницы. Данвиц поспел туда в самый раз. В ресторанном зале толпились возле стен армейские и эсэсовские офицеры. Посредине зала сверкал белизной скатерти и туго накрахмаленных салфеток, искрился хрусталем бокалов и рюмок большой Т-образный стол.

Остановившись неподалеку от входной двери, Данвиц огляделся и пришел к заключению, что ни с кем он здесь не знаком. К тому же большинство из собравшихся были старше его, Данвица, по званию – сплошь полковники и даже два генерала. Генералы стояли отдельно, не смешиваясь с остальными, и оживленно беседовали.

Многие из офицеров были в парадных мундирах. На мундирах можно было увидеть богатые коллекции орденов и всевозможных значков – железные кресты обеих степеней, специальные пряжки, которыми Гитлер награждал тех, кто уже имел железный крест за первую мировую войну и ныне вторично удостоивался награды, серебряные и бронзовые кресты «За военные заслуги» с мечами и без мечей, почетные знаки, выдаваемые участникам пехотных штурмовых атак, и многое-многое другое.

В отличие от всех этих людей, неизвестно за что и когда получивших свои регалии, Данвиц имел всего лишь одну награду – железный крест. Ни на этот орден, ни на самого Данвица никто не обращал внимания. И ему, находившемуся до сих пор в отличном расположении духа, вдруг стало не по себе. Близкий некогда к окружению фюрера, он привык, что в любой офицерской компании к нему относились с завистливой почтительностью. Ему доставляло какое-то злорадное удовлетворение сознавать, что вот он, выходец из обыкновенной, среднего достатка семьи, единственным «капиталом» которой была беспредельная преданность фюреру, может без всякого подбострастия смотреть в глаза всем этим «фонам», в чьих родословных – несколько поколений предков в генеральских и полковничьих чинах. Поощряемая в партийных кругах, открыто не проявляемая, но все же существующая неприязнь к кадровым военным, закосневшим в своих кастовых предрассудках и не признающим, что их происхождение и академические премудрости гроша ломаного не стоят по сравнению с силой национал-социалистского духа, в полной мере разделялась Данвицем.

И вот теперь он стоит в дверях, одинокий, никому не известный, никем не приглашаемый и не желающий сам кому-либо навязываться.

Данвиц отметил про себя, что в зале нет ни фон Лееба, ни генерала Бреннеке, и с защитно-утешительным чувством подумал, что если бы они были здесь, то его появление наверняка не осталось бы незамеченным.

– Арним, ты?! – неожиданно услышал он за спиной чей-то странно знакомый голос.

Данвиц резко повернулся, еще не сообразив, кому же принадлежит этот голос, но уже испытывая радость оттого, что его одиночество кончилось. К нему быстрыми шагами приближался высокий полковник, перед которым все подобострастно вытягивались.

– Эрнст?.. – неуверенно воскликнул Данвиц, хотя в душе уже не сомневался, что к нему спешит именно Эрнст Крюгер, офицер для поручений у Браухича – главнокомандующего сухопутными войсками Германии.

Данвиц и Крюгер сблизились два года назад, когда начальник генерального штаба Гальдер остановил на них свой придирчивый взгляд и доверил обоим участвовать в секретнейшей операции, давшей повод для вторжения немецких войск в Польшу. То, что Крюгер еще до того принимал участие в руководимой самим Гитлером акции по ликвидации Рема и лично застрелил одного из двух убитых тогда армейских генералов – не то Вирхова, не то Бредова, – не оставляло сомнений в его преданности идеям национал-социализма, а это всегда было главным критерием отношения Данвица к людям.

Но, черт побери, совсем недавно – пяти месяцев не прошло с момента их последней встречи – Крюгер был всего лишь майором!

Данвиц хотел было устремиться навстречу приятелю, но, заметив, что за Крюгером наблюдают в эту минуту десятки глаз, не двинулся с места, только вытянулся и, когда тот приблизился, щелкнул каблуками и полусерьезно-полушутливо отчеканил:

– Оберст-лейтенант Данвиц к вашим услугам, господин полковник.

– Перестань, Арним! – улыбнулся Крюгер. – Мы не в имперской канцелярии.

Данвиц с чувством благодарности крепко пожал его руку и, не выпуская ее, кивнул на полковничьи погоны Крюгера:

– Поздравляю, Эрнст!.. Каким чудом ты оказался здесь?

Крюгер не успел ответить, потому что раздался чей-то громкий предупреждающий выкрик:

– Ахтунг!..

Все повернулись к двери и увидели входящего в зал генерал-лейтенанта Бреннеке.

Сопровождаемый адъютантом, он направился прямо к столу, добродушно улыбаясь и на ходу повторяя: «Прошу садиться, господа, прошу садиться!..»

– Что ж, Эрнст, видимо, нас сейчас разлучат, – с откровенным сожалением сказал Данвиц. – Ты ведь большое начальство, иди. – И усмехнулся иронически.

– Вместе с тобой! – ответил Крюгер и, слегка прикасаясь ладонью к талии Данвица, стал подталкивать его вперед, к тому поперечному столу, за которым уже стояли Бреннеке, два других генерала и несколько полковников.

Сначала Данвиц сопротивлялся. Но вдруг им овладело озорство: «Какого черта?! Я, наверное, здесь единственный фронтовик». Он с первого взгляда мог отличить «тыловую крысу» от фронтовика. Летом узнавал фронтовиков по выгоревшим на солнце волосам, по осунувшимся лицам. Зимой стал отличать по цвету щек и ушей – редко кому из фронтовиков удавалось избежать обморожения. Здесь эти верные признаки не попадались на глаза. Собравшиеся, все как на подбор, были с откормленными, хорошо ухоженными физиономиями, многие – при моноклях... «Хотел бы я посмотреть на офицера с моноклем под артиллерийским или пулеметным огнем», – зло подумал Данвиц.

Теперь он охотно поддавался нажиму руки Крюгера, не сопротивляясь, шел вперед.

Они приблизились к краю стола, где еще оставались свободные места. Бреннеке увидел Крюгера и, широко улыбаясь, предложил ему стул рядом с собой:

– Прошу вас, полковник!

– Позвольте мне, господин генерал, сесть рядом с моим боевым другом, – почтительно, но настойчиво произнес Крюгер.

Бреннеке перевел взгляд на Данвица.

– А-а, оберст-лейтенант! Рад видеть вас в нашем солдатском кругу!

И, обращаясь уже ко всем присутствующим, изволил пошутить:

– Садитесь же быстрее, господа! Шнапс остынет!

Загрохотали поспешно отодвигаемые стулья, и Данвиц заметил, как точно соблюдается здесь субординация: генералы и трое полковников уселись за столом, где уже сидели Бреннеке, Крюгер и он сам; другие полковники заняли места по обе стороны длинного стола там, где он упирался перпендикулярно в приставной генеральский; немногочисленные подполковники и майоры разместились на противоположном конце.

В хрустальные рюмки, поставленные справа от каждого прибора, был уже налит шнапс. Рядом поблескивали бокалы, пока еще пустые.

Бреннеке встал, постучал ножом о бокал. Раздался мелодичный звон хрусталя. Все разговоры мгновенно смолкли.

– Господа офицеры! – торжественно сказал Бреннеке. – Я хочу начать с приятного сообщения... – Он выдержал многозначительную паузу и объявил: – Сегодня нами взят Тихвин! Зиг хайль!

Из десятков плоток вырвалось ответное оглушительное трехкратное «Зиг хайль!». Опять раздался грохот стульев. Все встали, держа в руках налитые рюмки и сияя улыбками.

Да, это была победа. Первая за последние месяцы реально осязаемая победа на фронте группы армий «Север».

Другие фронты за то же время имели на своем счету десятки захваченных русских городов, сотни километров пройденного пути. Но этот проклятый стоячий фронт, словно сторожевой пес, залег у стен Петербурга. И хотя это тоже, как утверждали немецкие газеты и радио, следовало считать «почти победой», бессильное топтание войск на одних и тех же рубежах сделало мишенью для насмешек самого командующего группой армий «Север».

Для тех, кто недостаточно был знаком с оперативной картой, кому неизвестно было, по какому пути Советская страна посылает продовольствие, чтобы поддержать угасающие силы Ленинграда, слово «Тихвин» оставалось пустым звуком. Но здесь-то, в этой комнате, подлинное значение тихвинского железнодорожного узла отлично понимал каждый.

Неспособность фон Лееба взять Ленинград штурмом стала притчей во языцех в далекой ставке Гитлера. А теперь вот и там должны будут признать, что в удушении этого неприступного города фельдмаршал достиг несомненного успеха.

Все это, вместе взятое, – жажда реванша за пережитые унижения, неудовлетворенное честолюбие, предвкушение новой, неизмеримо большей, оглушающей победы – падения обессиленного, обескровленного Ленинграда, – все это слилось в едином, истошно-торжествующем вопле «Зиг хайль!».

Кричал «Зиг хайль!» и Данвиц. Кричал искренне, самозабвенно. Он уже не помнил о своем недавнем чувстве неприязни к собравшимся здесь офицерам, этим «обозникам», носящим такие же, как и он, мундиры, имеющим такие же, как он, и даже более высокие награды, полученные неведь за что в трехстах километрах от линии огня...

Минуту или две Бреннеке стоял молча, держа наполненную рюмку как полагалось, на уровне третьей сверху пуговицы своего мундира, и ожидая, пока смолкнут победные клики. Потом слегка приподнял левую руку, давая понять, что хочет продолжать речь, и в наступившей наконец тишине заговорил опять:

– Господа! Я солдат и буду по-солдатски откровенен. Некоторые из нас уже начинали сожалеть, что оказались на этом неблагоприятном фронте. Я не осуждаю таких. Не осуждаю их

благородной зависти к боевым товарищам с Центрального и Южного фронтов. Понимаю в принимаю, как неизбежное, недавнее желание многих быть в группе армий «Центр», когда там... – Бреннеке вдруг осекся, обвел медленным взглядом присутствующих, в том числе и тех, кто стоял с ним за одним, главным столом, наткнулся на встречный предостерегающий взгляд полковника Крюгера, нарочито закашлялся и закончил фразу уже иным, менее торжественным тоном: – ...встречали фанатическое сопротивление славяно-монгольских орд.

Но тут же потухший было голос Бреннеке снова окреп:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.